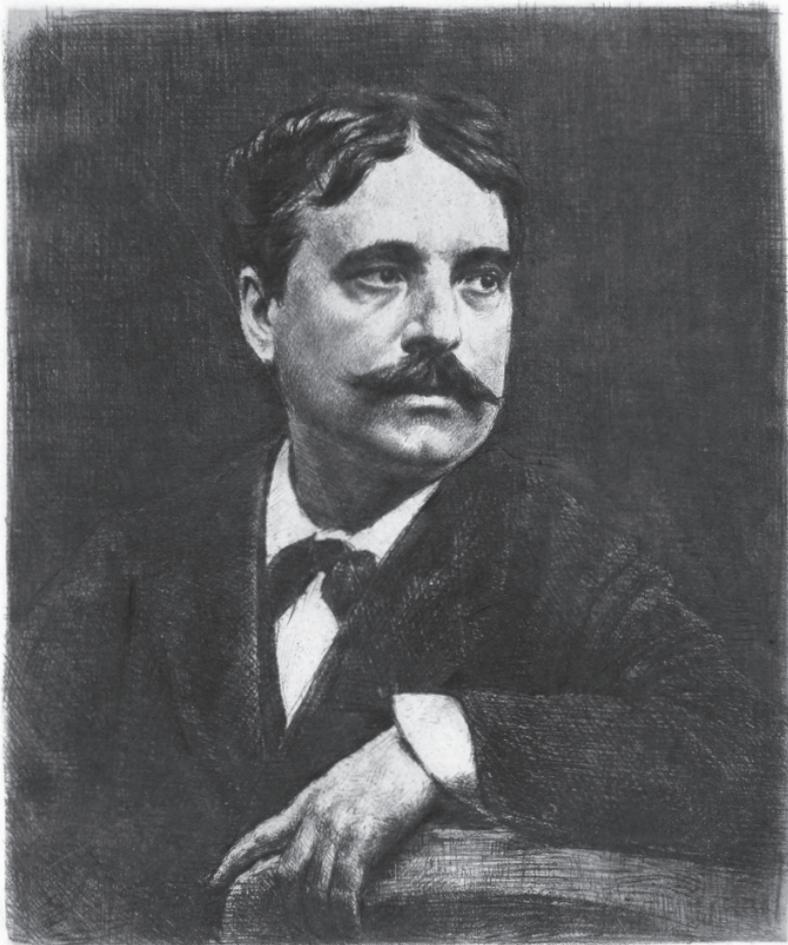




Ги де Мопассан
МАДЕМУАЗЕЛЬ
ФИФИ

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Ги де Мопассан

Ги де Мопассан

МАДЕМУАЗЕЛЬ

ФИФИ



СЗКЭО

Москва

ОНИКС-ЛИТ

ББК 84.(4)-44
УДК 821.133.1
М78

В книге использованы иллюстрации
Луи Валле к полному иллюстрированному изданию Ги де
Мопассана. Поль Оллендорф, Париж, 1905 год

Перевод Александры Чеботаревской в современной орфографии
воспроизводится по изданию
«Ги де Мопассан. Собрание сочинений»,
издательство «Шиповник», СПб, 1911 год

В оформлении обложки использована картина
Эрнеста Жана Делайе «Мадемуазель Фифи»

М78 **Мопассан Ги де.** Мадемуазель Фифи — Санкт-Петербург, СЗКЭО, 2019. — 208 с., ил.
«Мадемуазель Фифи» — один из авторских сборников новелл Ги де Мопассана, крупнейшего французского писателя, который вошел в историю мировой литературы как мастер коротких рассказов с неожиданной концовкой. Впервые некоторые из произведений сборника были опубликованы под одной обложкой в 1882 году; окончательно состав сборника, который включает 18 рассказов и новелл, сформировался год спустя. В оформлении данного издания использованы рисунки известного французского иллюстратора, графика и карикатуриста Луи Валле.

ISBN 978-5-9603-0463-4

© СЗКЭО, 2019

МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Майор, граф фон Фарльсберг, командующий прусским отрядом, дочитывал принесенную ему почту. Он сидел в широком ковровом кресле, задрав ноги на изящную мраморную доску камина, где его шпоры — граф пребывал в замке Ювиль уже три месяца — продолбили пару заметных, углублявшихся с каждым днем выбоин.

Чашка кофе дымилась на круглом столике, мозаичная доска которого была залита ликерами, прожжена сигарами, изрезана перочинным ножом: кончив иной раз чинить карандаш, офицер-завоеватель от нечего делать принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки.

Прочитав письма и просмотрев немецкие газеты, поданные обозным почтальоном, граф встал, подбросил в камин три или четыре толстых, еще сырых полена, — эти господа понемногу вырубали парк на дрова, — и подошел к окну.

Дождь лил потоками; то был нормандский дождь, словно изливаемый разъяренной рукою, дождь косою, плотный, как завеса, дождь, подобный стене из наклонных полос, хлещущий, брызжущий грязью, все затопляющий, — настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного горшка Франции.

Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль — на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель; он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс, как вдруг шум за спиною за-



ставил его обернуться: пришел его помощник, барон фон Кельвейнгштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана.

Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинною веерообразной бородою, ниспадавшею на его грудь подобно скатерти; вся его рослая торжественная фигура вызвала представление о павлине, о павлине военном, распутившем хвост под подбородком. У него были голубые, холодные и спокойные глаза, шрам на щеке от сабельного удара, полученного во время войны с Австрией, и он слыл не только храбрым офицером, но и хорошим человеком.

Капитан, маленький, краснолицый, с большим, туго перетянутым животом, коротко подстригал свою рыжую бороду; при известном освещении она приобрела пламенные отливы, и тогда казалось, что лицо его натерто фосфором. У него не хватало двух зубов, выбитых в ночь кутежа, — как это вышло, он хорошенько не помнил, — и он, шепелявя, выплевывал слова, которые не всегда можно было понять. На макушке у него была плешь, вроде монашеской тонзуры; руно коротких курчавившихся волос, золотистых и блестящих, обрамляло этот кружок обнаженной плоти.

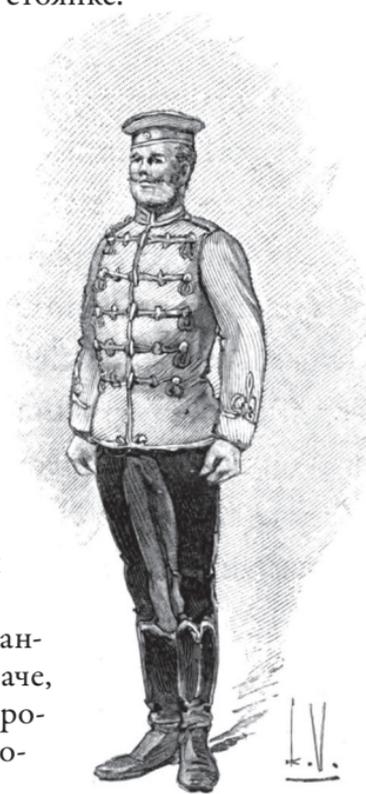


Командир пожал ему руку и одним духом выпил чашку кофе (шестую за это утро), выслушивая рапорт своего подчиненного о происшествиях по службе; затем они подошли к окну и признались друг другу, что им невесело. Майор, человек спокойный, имевший семью на родине, приспосаблился ко всему, но капитан, отъявленный кутила, завсегдатай притонов и отчаянный юбочник, приходил в бешенство от вынужденного трехмесячного целомудрия на этой захолустной стоянке.

Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул: "Войдите!" На пороге показался один из их солдат-автоматов; его появление означало, что завтрак подан.

В столовой они застали трех младших офицеров: лейтенанта Отто фон Гросслинга и двух младших лейтенантов, Фрица Шейнаубурга и маркиза Вильгельма фон Эйрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестокого с побежденными и вспыльчивого, как порох.

С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе, как Мадемуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому,



словно перетянutoму корсетом стану, бледному лицу с едва пробивавшимися усиками, а также усвоенной им привычке употреблять ежеминутно, дабы выразить наивысшее презрение к людям и вещам, французские слова "fi", "fi donc" ¹, которые он произносил с легким присвистом.

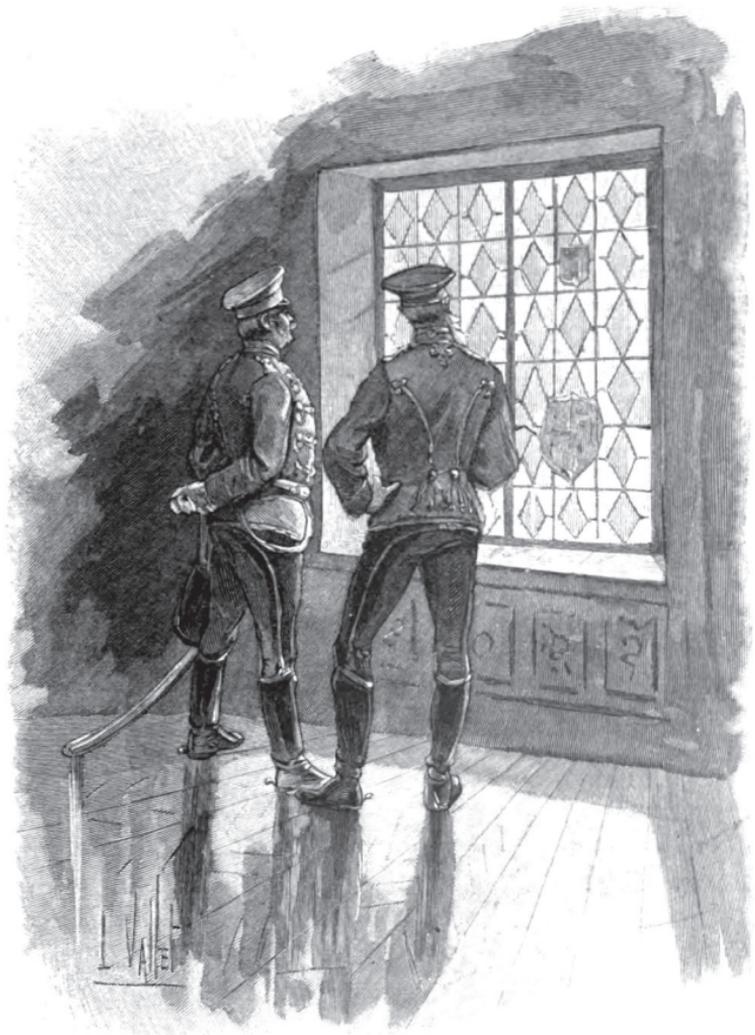
Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную, царственно пышную комнату; ее старинные зеркала, все в звездообразных трещинах от пуль, и высокие фландрские шпалеры по стенам, искромсанные ударами сабли и кое-где свисавшие лохмами, свидетельствовали о занятиях Мадемуазель Фифи в часы досуга.

Три фамильных портрета на стенах — воин, облаченный в броню, кардинал и председатель суда — курили теперь длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы со стершейся позолотой огромные нарисованные углем усы.

Завтрак офицеров проходил почти безмолвно. Обезобразенная и полутемная от ливня комната наводила уныние своим видом завоеванного места, а ее старый дубовый паркет был покрыт грязью, как пол в кабаке.

Окончив еду и перейдя к вину и курению, они, как повелось каждый день, принялись жаловаться на скуку. Бутылки с коньяком и ликерами переходили из рук в руки; развалившись на стульях, офицеры непрестанно отхлебывали маленькими глотками вино, не выпуская изо рта длинных изогнутых трубок с фаянсовым яйцом на конце, пестро расписанных, словно для соблазна готтентотов.

¹ Французские междометия, выражающие укоризну, недовольство, презрение, отвращение.



Как только стаканы опорожнялись, офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но Мадемуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, и солдат немедленно подавал ему другой.

Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, все глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать.

Но вдруг барон вскочил. Дрожа от бешенства, он выкрикнул:

— Черт побери! Так не может продолжаться. Надо, наконец, что-нибудь придумать!

Лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, оба с типичными немецкими лицами, неподвижными и глубокомысленными, спросили в один голос:

— Что же, капитан?

Он с минуту подумал, потом сказал:

— Что? Если командир разрешит, надо устроить пирושку!

Майор вынул изо рта трубку:

— Какую пирושку, капитан?

Барон подошел к нему:

— Я беру все хлопоты на себя, господин майор. "Долг" будет отправлен мною в Руан и привезет с собою дам; я знаю, где их раздобыть. Приготовят ужин, все у нас для этого есть, и мы по крайней мере проведем славный вечерок.

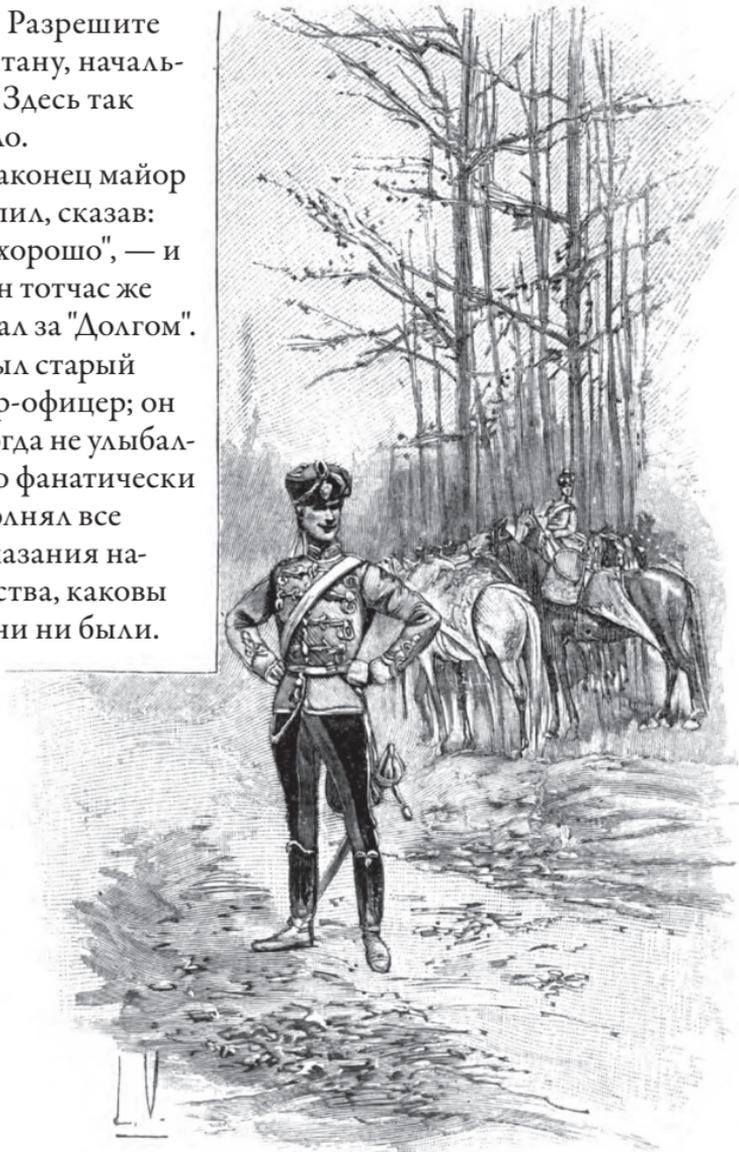
Граф фон Фарльсберг улыбнулся, пожимая плечами:

— Вы с ума сошли, друг мой.

Но офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и взмолились:

— Разрешите капитану, начальнику! Здесь так уныло.

Наконец майор уступил, сказав: "Ну, хорошо", — и барон тотчас же послал за "Долгом". То был старый унтер-офицер; он никогда не улыбался, но фанатически выполнял все приказания начальства, каковы бы они ни были.





Вытянувшись, он бесстрастно выслушал указание барона, затем вышел, и пять минут спустя четверка лошадей уже мчала под проливным дождем огромную обозную повозку с натянутым над нею в виде свода брезентом.

Тотчас все словно пробудилось: вялые фигуры выпрямились, лица ожили, и все принялись болтать. Хотя ливень продолжался с тем же неистовством, майор объявил, что стало светлее, а лейтенант Отто уверенно утверждал, что небо сейчас прояснится. Сам Мадемуазель Фифи, казалось, не мог усидеть на месте. Он вставал и садился снова. Его светлые, жесткие глаза искали, что бы такое разбить. Вдруг, остановившись взглядом на усатой даме, молодой блондин вынул револьвер.

— Ты этого не увидишь, — сказал он и, не вставая с места, прицелился. Две пули одна за другой пробили глаза на портрете.

Затем он крикнул:

— Заложим мину!

И разговоры вмиг смолкли, словно вниманием всех присутствующих овладел какой-то новый и захватывающий интерес.



Мина была его выдумкой, его способом разрушения, его любимой забавой.

Покидая замок, его владелец, граф Фернан д'Амуа д'Ювиль, не успел ни захватить с собою, ни спрятать ничего, кроме серебра, замурованного в углублении одной стены. А так как он был богат и любил искусство, то большая гостиная, выходящая в столовую, представляла собою до поспешного бегства хозяина настоящую галерею музея.

По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели. На столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах было множество безделушек: китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло населяли огромную комнату своею драгоценною и причудливою толпой.

Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то, чтобы вещи были разграблены, — майор граф фон Фарльсберг этого никогда не допустил бы, — но Мадемуазель Фифи время от времени закладывал мину, и в такие дни все офицеры действительно веселились вовсю в течение нескольких минут.

Маленький маркиз пошел в гостиную на поиски того, что ему было нужно. Он принес крошечный чайник из китайского фарфора — семьи "розовых", — насыпал в него порошу, осторожно ввел через носик длинный кусок трута, поджег его и бегом отнес эту адскую машину в соседнюю комнату.

Затем он мгновенно вернулся и запер за собою дверь. Все немцы ожидали, стоя, с улыбкою детского любо-

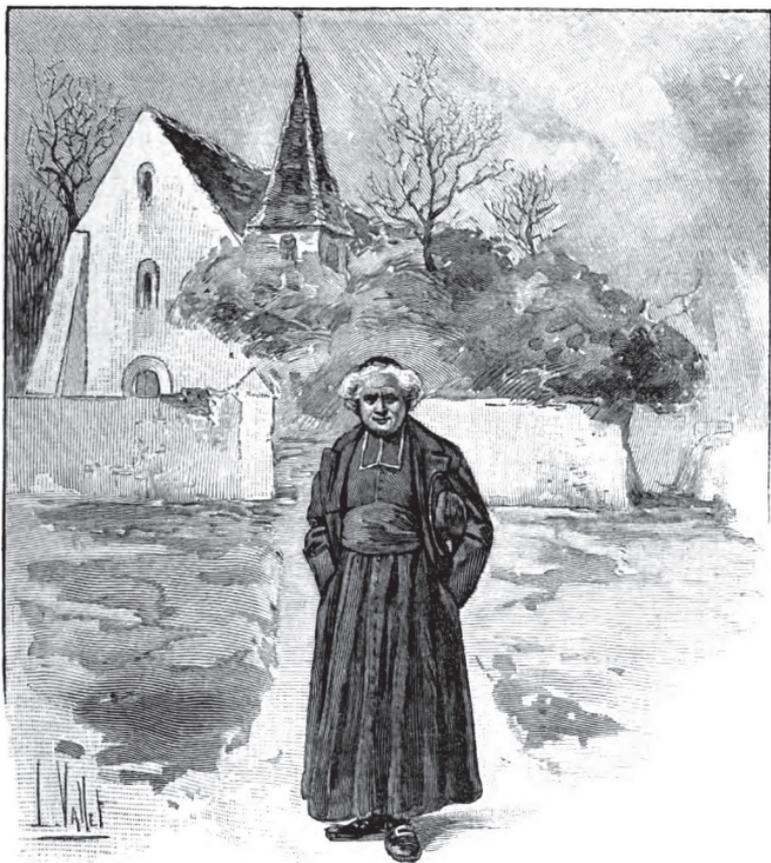
пытства на лицах, и как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную.

Мадемуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова; каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причиненных взрывом, рассматривая новые поврежде-



ния и споря о некоторых, как о результате предыдущих взрывов; майор же окидывал отеческим взглядом огромный зал, разрушенный, словно по воле Нерона, этой картечью и усеянный обломками произведений искусства. Он вышел первым, благодушно заявив:

— На этот раз очень удачно.



Но в столовую, где было сильно накурено, ворвался такой столб дыма, что стало трудно дышать. Майор распахнул окно; офицеры, вернувшиеся допивать последние рюмки коньяку, тоже подошли к окну.

Комната наполнилась влажным воздухом, который принес с собою облако водяной пыли, оседавшей на бо-

родах. Офицеры смотрели на высокие деревья, поникшие под ливнем, на широкую долину, помрачневшую от низких черных туч, и на далекую церковную колокольню, высившуюся серой стрелой под проливным дождем.

Как только пришли пруссаки, на этой колокольне больше не звонили. То было, впрочем, единственное сопротивление, встреченное завоевателями в этом крае. Кюре ничуть не отказывался принимать на постой и кормить прусских солдат; он даже не раз соглашался распить бутылочку пива или бордо с неприятельским командиром, часто прибегавшим к его благосклонному посредничеству; но нечего было и просить его хоть раз ударить в колокол: он скорее дал бы себя расстрелять. То был его личный способ протеста против нашествия, протеста молчанием, мирного и единственного протеста который, по его словам, приличествовал священнику, носителю кротости, а не вражды. На десять лье в округе все восхваляли твердость и геройство аббата Шантавуана, посмевшего утвердить народный траур упорным безмолвием своей церкви.

Вся деревня, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до конца поддерживать своего пастыря, идти на все: подобный молчаливый протест она считала спасением народной чести. Крестьянам казалось, что они оказали не меньшие услуги родине, чем Бельфор и Страсбург, что они подали одинаковый пример патриотизма и имя их деревушки обессмертится; впрочем, помимо этого, они ни в чем не отказывали пруссакам-победителям.

Начальник и офицеры смеялись над этим безобидным мужеством, но так как во всей местности к ним относились предупредительно и с покорностью, то они охотно мирились с таким молчаливым выражением патриотизма.

Один только маленький маркиз Вильгельм во что бы то ни стало хотел добиться, чтобы колокол зазвонил. Он злился на дипломатическую снисходительность своего начальника и ежедневно умолял его позволить один раз, один только разик, просто забавы ради, прозвонить "дин-дон-дон". Он просил об этом с грацией кошки, с вкрадчивостью женщины, нежным голосом отуманенной желанием любовницы; но майор не уступал, и Мадемуазель Фифи, для своего утешения, закладывал мины в замке Ювиль.

Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец лейтенант Фриц, грубо рассмеявшись, сказал:



— Этим дефицам выпал дурной фрема для их прокулки.

Затем каждый отправился по своим делам, а у капитана оказалось множество хлопот по приготовлению обеда.

Встретившись снова вечером, они не могли не рассмеяться, взглянув друг на друга: все напонадились, надушились, принарядились и были ослепительны, как в дни больших парадов. Волосы майора казались уже не столь седыми, как утром, а капитан побрился, оставив только усы, пылавшие у него под носом.

Несмотря на дождь, окно оставили открытым, то и дело кто-нибудь подходил к нему и прислушивался. В десять минут седьмого барон сообщил об отдаленном стуке колес. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряженный четверкою быстро мчавшихся лошадей; они были забрызганы грязью до самой спины, дымились от пота и храпели.

И на крыльцо взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, к которому "Долг" ходил с визитною карточкой своего офицера.

Они не заставили себя просить, зная наперед, что им хорошо заплатят; за три месяца они успели ознакомиться с пруссаками и примирились с ними, как и с положением вещей вообще. "Этого требует наше ремесло", — убеждали они себя по дороге, без сомнения, стараясь заглушить тайные укоры каких-то остатков совести.

Тотчас же вошли в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем плачевном разгроме, а стол, уставленный яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, где его спрятал владелец замка, придавал комнате вид таверны, где после грабежа ужинают бандиты. Капитан, весь сияя, тотчас же завладел женщинами, как привычным своим достоянием: он осматривал их, обнимал, обнюхивал, определял их ценность, как жриц веселья, а когда трое молодых людей захотели выбрать себе по даме, он властно остановил их, намереваясь произвести раздел самолично, по чинам, по всей справедливости, чтобы ничем не нарушить иерархии.

Во избежание всяких споров, пререканий и подозрений в пристрастии, он выстроил их в ряд, по росту, и обратился к самой высокой, словно командуя:

— Твое имя?

— Памела, — отвечала та, стараясь говорить громче.

И он провозгласил: — Номер первый, Памела, присуждается командиру.

Обняв затем вторую, Блондинку, в знак присвоения, он предложил толстую Аманду лейтенанту Отто, Еву, по прозвищу Томат, — младшему лейтенанту Фрицу, а самую маленькую из всех, еврейку Рашель, молоденькую брюнетку, с черными, как чернильные пятна, глазами, со вздернутым носиком, не подтверждавшим правила о том, что все евреи горбоносы, — самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик.

Все женщины, впрочем, были красивые и полные; они мало отличались друг от друга лицом, а по при-

чине ежедневных занятий любовью и общей жизни в публичном доме походили одна на другую манерами и цветом кожи.

Трое молодых людей хотели было тотчас же увести своих женщин наверх, под предлогом дать им умыться и почиститься; но капитан мудро воспротивился этому, утверждая, что они достаточно опрятны, чтобы сесть за стол, и что те офицеры, которые пойдут с ними наверх, захотят, пожалуй, спустившись, поменяться дамами, чем расстроят остальные пары. Его житейская опытность одержала верх. Ограничились многочисленными поцелуями, поцелуями ожидания.

Вдруг Рашель чуть не задохнулась, закашлявшись до слез и выпуская дым из ноздрей. Маркиз под предлогом поцелуя впустил ей в рот струю табачного дыма. Она не рассердилась, не сказала ни слова, но пристально взглянула на своего обладателя, и в глубине ее черных глаз вспыхнул гнев.

Сели за стол. Сам командующий был, казалось, в восторге; направо от себя он посадил Памелу, налево Блондинку и объявил, развертывая салфетку:

— Вам пришла в голову восхитительная мысль, капитан.

Лейтенанты Отто и Фриц, державшиеся отменно вежливо, словно рядом с ними были светские дамы, стесняли этим своих соседок; но барон фон Кельвейнштейн, чувствуя себя в своей сфере, сиял, сыпал двусмысленными остротами и со своей шапкой огненно-рыжих волос казался объятым пламенем. Он любезничал на рейнско-французском языке, и его кабацкие

комплименты, выплюнутые сквозь отверстие двух выбитых зубов, долетали к девицам с брызгами слюны.

Девушки, впрочем, ничего не понимали, и сознание их как-будто пробудилось лишь в тот момент, когда барон стал изрыгать похабные слова и непристойности, искажаемые вдобавок его произношением. Тогда они начали хохотать, как безумные, приваливаясь на животы соседям и повторяя выражения барона, которые тот намеренно коверкал, чтобы заставить их говорить сальности. И девицы сыпали ими в изобилии. Опынев от первых бутылок вина и снова став самими собой, войдя в привычную роль, они целовали направо и налево усы, щипали руки, испускали пронзительные крики и пили из всех стаканов, распевая французские куплеты и обрывки немецких песен, усвоенные ими в ежедневном общении с неприятелем.

Вскоре и мужчины, опьяненные этим столь доступным их обонянию и осязанию женским телом, обезумели, принялись реветь, бить посуду, в то время как солдаты, стоявшие за каждым стулом, бесстрастно прислуживали им.

Только один майор хранил известную сдержанность.

Мадемуазель Фифи взял Рашель к себе на колени. Приходя в возбуждение, хотя и оставаясь холодным, он то начинал безумно целовать черные завитки волос у ее затылка, вдыхая между платьем и кожей нежную теплоту ее тела и его запах, то, охваченный звериным неистовством, потребностью разрушения, яростно щипал ее сквозь одежду, так что она вскрикивала. Нередко также, держа ее в объятиях и сжимая, словно стремясь

слиться с нею, он подолгу впивался губами в свежий рот еврейки и целовал ее до того, что дух захватывало; и вдруг в одну из таких минут он укусил девушку так глубоко, что струйка крови побежала по ее подбородку, стекая за корсаж.

Еще раз взглянула она в глаза офицеру и, отирая кровь, пробормотала:

— За это расплачиваются.

Он расхохотался жестоким смехом.

— Я заплачу, — сказал он.

Подали десерт. Начали разливать шампанское. Командующий поднялся и тем же тоном, каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, сказал:

— За наших дам!

И начались тосты, галантные тосты солдафонов и пьяниц, вперемешку с циничными шутками, казавшимися еще грубее из-за незнания языка.

Офицеры вставали один за другим, пытаясь блеснуть остроумием, стараясь быть забавными, а женщины, пьяные вдрызг, с блуждающим взором, с отвиснувшими губами, каждый раз неистово аплодировали.

Капитан, желая придать оргии праздничный и галантный характер, снова поднял бокал и воскликнул:

— За наши победы над сердцами!

Тогда лейтенант Отто, напоминавший собою шварцвальдского медведя, встал, возбужденный, упившийся, и в порыве патриотизма крикнул:

— За наши победы над Францией!

Как ни пьяны были женщины, однако они разом умолкли, а Рашель, дрожа, обернулась:

— Ну, знаешь, видала я французов, в присутствии которых ты не посмел бы сказать этого!

Но маленький маркиз, продолжая держать ее на коленях, захохотал, развеселившись от вина:

— Ха-ха-ха! Я таких не видывал. Стоит нам только появиться, как они улепетывают со всех ног!

Взбешенная девушка крикнула ему прямо в лицо:

— Лжешь, негодяй!

Мгновение он пристально смотрел на нее своими светлыми глазами, как смотрел на картины, холст которых продырявливал выстрелами из револьвера, затем рассмеялся:



— Вот как! Ну, давай потолкуем об этом, красавица! Да разве мы были бы здесь, будь они похрабрее?

Он оживился:

— Мы их господа! Франция — наша!

Рывком Рашель соскользнула с его колен и опустилась на свой стул. Он встал, протянул бокал над столом и повторил:

— Нам принадлежит вся Франция, все французы, все леса, поля и все дома Франции!

Остальные, совершенно пьяные, охваченные военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, подняли свои бокалы с ревом: "Да здравствует Пруссия!" — и залпом их осушили.

Девушки, вынужденные молчать, перепуганные, не протестовали. Молчала и Рашель, не имея сил ответить.

Маркиз поставил на голову еврейке наполненный снова бокал шампанского

— Нам, — крикнул он, — принадлежат и все женщины Франции!

Рашель вскочила так быстро, что бокал опрокинулся: словно совершая крещение, он пролил желтое вино на ее черные волосы и, упав на пол, разбился. Ее губы дрожали, она с вызовом смотрела на офицера, продолжавшего смеяться, и, задыхаясь от гнева, пролепетала:

— Нет, врешь, это уж нет; женщины Франции никогда не будут вашими!

Он сел, чтобы вдоволь посмеяться, и, подражая парижскому произношению, сказал:

— Она прелестна, прелестна! Но для чего же ты здесь, моя крошка?

Ошеломленная, она сначала умолкла и в овладевшем ею волнении не осознала его слов, но затем, поняв, что он говорил, бросила ему негодуяще и яростно:

— Я! Я! Да я не женщина, я — шлюха, а это то самое, что и нужно пруссакам.

Не успела она договорить, как он со всего размаху дал ей пощечину; но в ту минуту, когда он снова занес руку, она, обезумев от ярости, схватила со стола десертный ножичек с серебряным лезвием и так быстро, что никто не успел заметить, всадила его офицеру прямо в шею, у той самой впадинки, где начинается грудь.

Какое-то недоговоренное слово застряло у него в горле, и он остался с разинутым ртом и с ужасающим выражением глаз.

У всех вырвался рев, и все в смятении вскочили; Рашель швырнула стул под ноги лейтенанту Отто, так что он растянулся во весь рост, подбежала к окну, распахнула его и, прежде чем ее успели догнать, прыгнула в темноту, где не переставал лить дождь.

Две минуты спустя Мадемуазель Фифи был мертв.

Фриц и Отто обнажили сабли и хотели зарубить женщин, валявшихся у них в ногах. Майору едва удалось помешать этой бойне, и он приказал запереть в отдельную комнату четырех обезумевших женщин под охраной двух часовых; затем он привел свой отряд в боевую готовность и организовал преследование беглянки, в полной уверенности, что ее поймут.

Пятьдесят человек, напутствуемые угрозами, были отправлены в парк; двести других обыскивали леса и все дома в долине.

Стол, с которого мгновенно все убрали, служил теперь смертным ложем, а четверо протрезвившихся, немолимых офицеров, с суровыми лицами воинов при исполнении обязанностей, стояли у окон, стараясь проникнуть взглядом во мрак.

Страшный ливень продолжался. Тьму наполняло непрерывное хлюпанье, реющий шорох всей той воды, которая струится с неба, сбегает по земле, падает каплями и брызжет кругом.

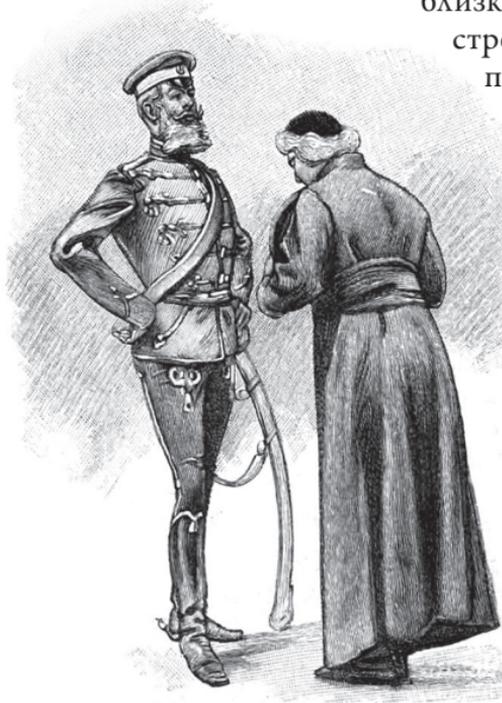
Вдруг раздался выстрел, затем издали другой, и в течение четырех часов время от времени слышались то

близкие, то отдаленные выстрелы, сигналы сбора, непонятные слова, выкрикиваемые хриплыми голосами и звучащие призывом.

К утру все вернулись. Двое солдат было убито и трое других ранено их товарищами в пылу охоты и в сумятице ночной погони.

Рашель не нашли.

Тогда пруссаки решили нагнать страху на жителей, перевернули вверх



дном все дома, изъездили, обыскали, перевернули всю местность. Еврейка не оставила, казалось, ни малейшего следа на своем пути.

Когда об этом было доложено генералу, он приказал потушить дело, чтобы не давать дурного примера армии, и наложил дисциплинарное взыскание на майора, а тот, в свою очередь, взгрел своих подчиненных. "Воюют не для того, чтобы развлекаться и ласкать публичных девок", — сказал генерал. И граф фон Фарльсберг в крайнем раздражении решил выместить все это на округе.

Так как ему нужен был какой-нибудь предлог, чтобы без стеснения приступить к репрессиям, он призвал кюре и приказал ему звонить в колокол на похоронах маркиза фон Эйрик.

Вопреки всякому ожиданию священник на этот раз оказался послушным, покорным, полным предупредительности. И когда тело Мадемуазель Фифи, которое несли солдаты и впереди которого, вокруг и сзади шли солдаты с заряженными ружьями, — когда оно покинуло замок Ювиль, направляясь на кладбище, с колокольни впервые раздался похоронный звон, причем колокол звучал как-то весело, словно его ласкала дружеская рука.

Он звонил и вечером, и на другой день, и стал звонить ежедневно; он трезвонил, сколько от него требовали. Порою он даже начинал одиноко покачиваться ночью и тихонько издавал во мраке два-три звука, точно проснулся неизвестно зачем и был охвачен странной веселостью. Тогда местные крестьяне решили, что он заколдован, и уже никто, кроме кюре и пономаря, не приближался к колокольне.

А там, наверху, в тоске и одиночестве, жила несчастная девушка, принимавшая тайком пищу от этих двух людей.

Она оставалась на колокольне вплоть до ухода немецких войск. Затем однажды вечером кюре попросил шарабан у булочника и сам отвез свою пленницу до ворот Руана. Приехав туда, священник поцеловал ее; она вышла из экипажа и быстро добралась пешком до публичного дома, хозяйка которого считала ее умершей.

Несколько времени спустя ее взял оттуда один патриот, чуждый предрассудков, полюбивший ее за этот прекрасный поступок; затем, позднее, полюбив ее уже ради нее самой, он женился на ней и сделал из нее даму не хуже многих других.



ГОСПОЖА БАТИСТ

Войдя в пассажирский зал вокзала в Лубэне, я первым делом взглянул на часы. До прихода скорого поезда из Парижа надо было ждать два часа десять минут.

Я вдруг почувствовал такую усталость, как будто прошел с десятков лье пешком; я оглянулся вокруг, словно

надеясь прочитав на стенах о каком-нибудь способе убить время, а затем снова вышел и остановился у подъезда вокзала, напряженно стараясь придумать, чем бы мне заняться.

Улица, похожая на обсаженный тощими акациями бульвар, тянувшаяся между двумя рядами домов, разнокалиберных домов маленького городка, взбиралась на что-то вроде холма; в самом конце ее виднелись деревья, словно она заканчивалась парком.

Время от времени дорогу перебежала кошка, осторожно перепрыгивая через сточные канавки. Собачонка наскоро обнюхивала подножия деревьев, отыскивая кухонные отбросы. Людей я не видел.

Мною овладело мрачное отчаяние. Что делать? Что делать? Я уже представлял себе нескончаемое и неизбежное сидение в маленьком железнодорожном кафе, перед стаканом пива, которое невозможно пить, с местной газетой в руках, которую невозможно читать, как вдруг увидел похоронную процессию: она сворачивала из переулка на ту улицу, где я находился.

Зрелище траурного шествия доставило мне облегчение. Я мог убить по крайней мере десять минут.

Но вскоре внимание мое удвоилось. Покойника сопровождали всего-навсего восемь мужчин; один из них плакал, остальные дружески беседовали между собою. Священник не участвовал в похоронах. Я подумал: "Это гражданские похороны", — но потом решил, что в таком городе, как Лубэн, вероятно, нашлось бы не менее сотни свободомыслящих и они почли бы своим долгом устроить манифестацию. Что

же это тогда? Быстрота, с которой двигалась процессия, ясно, однако, говорила о том, что усопшего хоронили без всякой торжественности и, следовательно, без церковного обряда.

Моя праздная любопытствующая мысль пустилась в самые сложные предположения; но так как погребальная колесница проезжала мимо, то мне пришла в голову шальная идея — пойти следом за восемью мужчинами. Это заняло бы меня на добрый час времени, и я с печальным видом пустился в путь за другими провожавшими.

Двое мужчин, шедших последними, с удивлением оглянулись и стали шептаться. Они, конечно, спрашивали друг друга, местный ли я житель. Затем они обратились за советом к двум, шедшим впереди, и те, в свою очередь, принялись меня разглядывать. Это пылкое внимание стало стеснять меня; желая положить ему конец, я подошел к моим соседям и, поклонившись им, сказал:

— Прошу извинить, господа, если я прерываю вашу беседу. Но, увидев гражданские похороны, я поспешил присоединиться к ним, не зная даже хорошенько, кто усопший, которого вы провожаете.

Один из мужчин произнес:

— Это — усопшая.

Я удивился и спросил:

— Но ведь это все же гражданские похороны, не правда ли?

Другой господин, очевидно, жаждал разъяснить мне, в чем дело.

— И да, и нет, — сказал он. — Духовенство отказало нам в церковном погребении.

На этот раз у меня вырвалось изумление: "Ах!". Я совсем уже ничего не понимал.

Мой обязательный сосед заговорил вполголоса:

— О, это целая история. Молодая женщина кончила жизнь самоубийством, — вот почему и нельзя было добиться, чтобы ее похоронили по религиозному обряду. Вон там, впереди, ее муж, — видите, тот, что плачет.

После некоторого колебания я сказал:

— Вы очень удивили и заинтересовали меня, сударь. Не будет ли нескромностью попросить вас поведать мне эту историю? Но если это вам неприятно, считайте, что я ни о чем не просил.

Господин дружески взял меня под руку.

— Ничуть, ничуть, — ответил он. — Давайте только немного отстанем. Я расскажу вам эту историю; она очень печальна. У нас еще много времени, пока доберемся до кладбища; деревья его, видите, вон там, вверху, а подъем очень крут.

И он начал:

— Представьте себе, эта молодая женщина, госпожа Поль Амо, была дочерью богатейшего из местных купцов, господина Фонтанеля. Совсем ребенком — ей было всего одиннадцать лет — с нею случилось страшное происшествие: ее изнасиловал лакей. Она едва не умерла, изувеченная этим негодяем, а его изобличило собственное зверство. Начался ужасный процесс, и тут открылось, что

маленькая мученица целых три месяца была жертвою гнусности этого животного. Его приговорили к бессрочным каторжным работам.

Девочка росла, заклеянная бесчестьем, одинокая, без подруг, едва удостоиваясь ласки со стороны взрослых; те как будто боялись замарать губы, целуя ее в лоб.

Она сделалась каким-то чудищем и диковинкой для всего города. "Знаете, это маленькая Фонтанель", — говорили шепотом. На улице все оборачивались, когда она проходила. Не удавалось даже найти няньку, которая водила бы ее гулять: прислуги других семей сторонились этой служанки, точно девочка распространяла заразу, переходившую на всякого, кто к ней приближался.

Жалко было видеть эту бедную крошку на главной улице, куда ежедневно после полудня сходились играть малыши. Она пребывала в полном одиночестве и, стоя возле няньки, печально смотрела на забавлявшихся детей. Иногда, уступая непреодолимому желанию присоединиться к ним, она робко делала шаг вперед и, боязливо двигаясь, украдкой подходила к какой-нибудь группе, словно сознавая, что она недостойна их. И тотчас со всех скамеек вскакивали матери, няньки, тетки, схватывали за руку порученных их надзору девочек и грубо уводили их. Маленькая Фонтанель оставалась одна, растерянная, ничего не понимая; сердце ее разрывалось от горя, и она начинала плакать. Затем она подбегала к няньке и, рыдая, прятала лицо в ее фартук.

Она подросла, и дело пошло еще хуже. Молодых девушек отдаляли от нее, как от зачумленной. Подумайте

только, что этой юной особе уже нечего было узнавать, нечего; что она не имела больше права на символический померанцевый цветок; что она, еще и читать не научившись, проникла в ту ужасную тайну, на которую матери, трепеща, едва смеют намекнуть дочерям в самый вечер свадьбы.

Когда она проходила по улице в сопровождении гувернантки, с нее не спускали глаз, словно из непрерывной боязни какого-нибудь нового и ужасного приключения; когда она проходила по улице, всегда потупив глаза под гнетом таинственного позора, вечно ощущаемого ею, другие молодые девушки, менее наивные, чем принято думать, перешептывались, лукаво поглядывая на нее, втихомолку пересмеивались и быстро отворачивали головы с рассеянным видом, если случайно она взглядывала на них.

Ей едва кланялись. Только немногие мужчины при встрече с нею приподнимали шляпу. Матери делали вид, что не видят ее. Несколько уличных мальчишек прозвали ее "госпожою Батист" — по имени лакея, который ее опозорил и погубил.

Никто не знал тайных мук ее души, потому что она совсем не говорила и никогда не смеялась. Для самих ее родителей, казалось, было стеснительно ее присутствие, и они как будто всегда сердились на нее за какую-то ее непоправимую ошибку. Честный человек не подаст ведь с охотой руки освобожденному каторжнику, хотя бы то был его сын? Господин и госпожа Фонтанель смотрели на свою дочь, как смотрели бы на сына, вернувшегoся с каторги.

Она была хорошенькая, бледная, высокая, тонкая, изящная. Она мне очень пришлась бы по вкусу, сударь, не будь этого обстоятельства.

Года полтора тому назад, когда к нам назначили нового супрефекта, с ним приехал его личный секретарь, чудаковатый малый, который, по-видимому, основательно пожил в Латинском квартале.

Он увидел мадемуазель Фонтанель и влюбился в нее. Ему рассказали все. Он ограничился ответом:

— Ба, это как раз гарантия на будущее. Я уж предпочитаю, чтобы это случилось до, нежели после. С такой женой я буду спать спокойно.

Он начал ухаживать за нею, напросил ее руки и женился. Затем, человек с характером, он, как ни в чем не бывало, сделал свадебные визиты. Некоторые ответили им, другие воздержались. Но в конце концов все стало забываться, и молодая женщина заняла свое место в обществе.

Надо вам сказать, что перед мужем она благоговела, как перед богом. Подумайте, ведь он возвратил ей честь, создал ей равное со всеми положение, он не боялся ничего и пренебрег общественным мнением, пошел навстречу оскорблениям, — словом, совершил мужественный поступок, на который бы не многие отважились. И она полюбила его восторженной и мучительной страстью.

Она забеременела. Когда об этом стало известно, самые щепетильные особы раскрыли перед нею свои двери, словно материнство очистило ее. Это смешно, но это так...

Все шло как нельзя лучше, но вот на днях у нас случился местный храмовой праздник. Префект, окруженный чиновниками и властями, председательствовал на конкурсе хоровых обществ; когда он закончил свою речь, началась раздача наград, и его личный секретарь Поль Амо вручал медаль каждому, имевшему на нее право.

Вы знаете, что такие дела никогда не обходятся без зависти и соперничества, из-за которых люди теряют чувство меры.

Все городские дамы находились там и сидели на эстраде.

Подошел, в свою очередь, регент города Мормильона. Его хоровой кружок был удостоен медали второй степени. Нельзя же всем присуждать первую степень, не правда ли?

Когда секретарь вручил ему знак отличия, этот человек, представьте себе, бросил медаль ему в лицо и крикнул:

— Можешь приберечь ее для Батиста! Ты должен даже наградить его медалью первой степени, как и меня!

На торжестве присутствовала масса народу, раздавался смех. Люди жестоки и неделикатны; все взоры устремились на несчастную женщину.

О сударь, видели ли вы когда-нибудь, как сходит с ума женщина? Нет? А вот мы присутствовали при этом зрелище! Она трижды вставала и снова падала на стул, точно желая бежать и видя, что не сможет пройти сквозь окружающую толпу.

Чей-то голос из публики крикнул еще раз:

— Эй, госпожа Батист!

Поднялся невообразимый гвалт, в котором слились насмешки и возгласы негодования.

Всех охватило волнение, суматоха; все головы задвигались. Передавали друг другу прозвище; тянулись, чтобы видеть выражение лица несчастной женщины; мужа поднимали на руки жен, чтобы показать ее; спрашивали друг у друга:



"Которая? Та, в голубом?" Мальчишки кричали попетушиному; оглушительные взрывы хохота раздавались то здесь, то там.

Она не двигалась, растерявшись, продолжая сидеть на своем праздничном кресле, словно ее выставили на показ перед всей публикой. Она не могла ни исчезнуть, ни пошевелиться, ни спрятать лицо. Ее глаза быстро мигали, словно их слепил яркий свет, и она тяжело дышала, как взбирающаяся на гору лошадь.

Сердце надрывалось при взгляде на нее.

Господин Амо схватил грубияна за горло, и они покатались по земле, среди ужасающего шума.

Торжество было прервано.

Час спустя, когда супруги Амо возвращались домой, молодая женщина, не проронившая ни слова с момента оскорбления, но охваченная с головы до ног дрожью, словно какая-то пружина привела в сотрясение все ее нервы, вдруг перепрыгнула через перила моста, и не успел муж удержать ее, как она уже была в реке.

Под сводами моста было очень глубоко. Прошло два часа, прежде чем удалось ее вытащить. Разумеется, она была мертва.

Рассказчик умолк, затем прибавил:

— Быть может, это и лучшее, что ей оставалось сделать в ее положении. Есть вещи, которых не загладишь ничем.

Вы понимаете теперь, почему духовенство закрыло перед нею двери церкви. О, если бы похороны были по религиозному обряду, пришел бы весь город! Но, пони-

маете, когда к старой истории прибавилось еще самоубийство, семейные люди воздержались; трудно к тому же у нас сопровождать похороны без священника.

Мы входили в ворота кладбища. Сильно взволнованный, я дождался минуты, когда гроб опустили в могилу, и затем подошел и крепко пожал руку несчастному молодому человеку, продолжавшему рыдать.

Он с удивлением взглянул на меня сквозь слезы и произнес.

— Благодарю вас, сударь.

И я уже не жалел о том, что последовал за этим похоронным шествием.

РЖАВЧИНА

У него в жизни была только одна неутолимая страсть: охота. Он охотился ежедневно, с утра до вечера, с неистовым увлечением. Он охотился зимой и летом, весной и осенью; охотился по болотам, когда закон воспрещал полевую и лесную охоту; охотился с ружьем, со сворой, с легавыми, с гончими, в засаде, с зеркалом, с хорьками. Он только и говорил, что об охоте, бредил охотой и повторял беспрестанно:

— Как, должно быть, несчастен человек, который не любит охоты!

Ему стукнуло пятьдесят лет, однако он был здоров, свеж, хотя и лыс, немного тучен, но силен; он подбривал снизу усы, обнажая губы и оставляя свободным весь рот, чтобы легче было трубить в рожок.

В округе его звали просто по имени: г-ном Гектором. Именовался же он бароном Гектором Гонтраном де Кутелье.

Он жил среди лесов, в маленькой, доставшейся ему по наследству усадьбе, и, несмотря на знакомство со всею аристократией департамента и встречи со всеми ее мужскими представителями на охотничьих сборах, был частым гостем только в одной семье — у Курвилей, своих милых соседей, связанных вековой дружбой с его родом.

В этом доме его любили, ласкали, баловали, и он говорил:

— Не будь я охотником, я хотел бы навсегда остаться у вас.



Г-н де Курвиль был его другом и товарищем с детства. Дворянин и сельский хозяин, он спокойно жил с женою, дочерью и зятем, г-ном Дарнето, который под предлогом занятий историей не делал ровно ничего. Барон де Кутелье часто обедал у своих друзей особенно потому, что любил рассказывать им о своих охотничьих приключениях.

У него был огромный запас историй о собаках и хорьках, и он говорил о них, как о замечательных, хорошо ему знакомых существах. Он раскрывал их мысли и намерения, разбираал и пояснял их.

— Когда Медор увидел, что коростель заставляет его бегать понапрасну, он сказал себе. "Погоди же, голубчик, мы еще посмеемся". И, сделав мне знак стать в углу клеверного поля, он стал искать наискось, с намеренным шумом раздвигая траву, чтобы загнать дичь в угол, откуда она не могла бы уже ускользнуть. Все случилось, как он предвидел: коростель в один миг очутился на краю поля. Но дальше ему уже некуда деться, его заметят. "Попался, — сказал он себе, — дело дрянь!" И притаился. Тогда Медор делает стойку, поглядывая на меня; я подаю ему знак, он гонит. Брру!.. коростель взлетает... я прикладываюсь... бац!.. он падает, и Медор приносит его мне, махая хвостом и словно спрашивая: "Ну, как? Чисто сделано, господин Гектор?"

Курвиль, Дарнето и обе женщины хохотали до упаду над этими живописными рассказами, в которые барон вкладывал всю душу. Он оживлялся, размахивал руками, двигался всем телом, а описывая смерть дичи, смеялся оглушительным смехом и всегда спрашивал в виде заключения:

— Недурная история?

Едва только заговаривали о другом, он переставал слушать, отсаживался в сторону и насвистывал, подражая охотничьему рожку. И когда в промежутке между двумя фразами наступало молчание, в эти минуты внезапной тишины вдруг раздавался охотничий сигнал:

"Тон-тон, тон-тэн, тон-тэн"; это напевал барон, раздувая щеки, словно трубил в рожок.

Он жил только для охоты и старился, не замечая, не видя этого. Как-то вдруг у него сделался приступ ревматизма, уложивший его на два месяца в постель. Он чуть не умер с горя и тоски. Так как женской прислуги у него не было, а кушанье готовил ему старый слуга, он не мог добиться ни горячих припарок, ни всех тех мелких услуг, которые необходимы больным. Сиделкой у него был доезжачий, и этот оруженосец, скучая наравне с хозяином, день и ночь спал в кресле, в то время как барон выходил из себя и ругался на все лады, лежа в постели.

Дамы де Курвиль приезжали иногда навестить барона, и это были для него часы покоя и блаженства. Они приготовляли ему лекарственную настойку, поддерживали в камине огонь, устраивали восхитительные завтраки у его постели, и когда они уезжали, он бормотал:

— Черт возьми! Вам следовало бы сюда совсем переселиться.

И они хохотали от всей души.

Он поправился, снова стал охотиться по болотам, и ему случилось однажды вечером зайти к своим друзьям; но прежней живости и веселости у него уже не было. Его мучила неотступная мысль — боязнь, что боли вернутся до открытия охоты. Когда он прощался и когда дамы закутывали его в шаль и повязывали ему шею фуляром — что он позволил сделать в первый раз за всю жизнь, — он прошептал с отчаянием в голосе:

— Если это снова начнется, то я конченный человек.

Когда он ушел, г-жа Дарнето сказала матери:

— Нужно женить барона!

Все всплеснули руками. Как они не подумали до сих пор об этом? Весь вечер перебирали знакомых вдов, и выбор остановился на одной

женщине лет сорока, г-же

Берте Вилер, еще красивой, достаточно богатой, здоровой и с отличным характером.



Ее пригласили провести

месяц в замке. Ей было скучно дома, и она

приехала. Она была подвижна и весела; г-н Кутелье понравился ей сразу. Он забавлял

ее, как живая игрушка, и она целыми часами лукаво выспрашивала его о чувствах кроликов, о кознях лисиц. Он с полной серьезностью различал несходные повадки разных животных и приписывал им хитрые планы и рассуждения, словно близко знакомым людям.

Внимание, которое она ему оказывала, восхищало его, и однажды вечером, в знак особого уважения, он пригласил ее с собой на охоту, чего никогда еще не делал ни для одной женщины. Приглашение это показалось ей таким забавным, что она приняла его. Сборы на охоту превратились в праздник: все приняли участие в этом, каждый что-нибудь предлагал, и она появилась



наконец, одетая под амазонку, в сапогах, в мужских штанах, в короткой юбке, в бархатной куртке, слишком узкой для ее груди, и в егерской фуражке.

Барон чувствовал себя до того взволнованным, как будто отправлялся охотиться в первый раз. Он объяснял ей во всех подробностях направление ветра, раз-

личные стойки собак, способ стрелять по дичи; затем выпустил ее в поле, следуя за ней по пятам с заботливостью кормилицы, наблюдающей за первыми шагами своего питомца.

Медор напал на след, пополз, сделал стойку, поднял лапу. Барон, стоя за своей ученицей, дрожал, как лист, и лепетал:

— Внимание, внимание, куро... куро... куропатки!

Не успел он сказать, как сильный шум поднялся с земли — брррр, брррр, брр! — и выводок жирных птиц взлетел на воздух, хлопая крыльями.

Г-жа Вилер, растерявшись, зажмурилась, выпустила два заряда, отступила на шаг из-за отдачи ружья, и когда снова овладела собой, то увидела, что барон пляшет, как безумный, а Медор несет в зубах две куропатки.

С этого дня г-н Кутелье влюбился в нее.

— Какая женщина! — говорил он, возводя глаза к небу.

Теперь он стал приходить каждый вечер, чтобы поболтать об охоте. Однажды г-н де Курвиль, провожая его домой и слушая восторженные восклицания по поводу новой приятельницы, неожиданно спросил:

— Почему бы вам на ней не жениться?

Барон был поражен.

— Я?... мне?... жениться на ней?... но... в самом деле...

И он умолк. Затем, торопливо пожав руку своего спутника, пробормотал: "До свидания, друг мой", — и исчез в темноте, размахисто шагая.

Три дня он не показывался. Когда же пришел опять, то совсем побледнел от долгих раздумий и был серьез-

нее обыкновенного. Отведя в сторону г-на де Курвиль, он сказал:

— У вас тогда была великолепная мысль. Постарайтесь расположить госпожу Вилер в мою пользу. Черт возьми, такая женщина, можно сказать, создана для меня. Мы будем с ней охотиться круглый год.

Г-н де Курвиль, уверенный в том, что отказа не встретится, отвечал:

— Делайте предложение немедленно, друг мой. Хотите, я возьму это на себя?

Но барон внезапно смутился и пробормотал:

— Нет... нет... мне придется сперва совершить одно маленькое путешествие... маленькое путешествие, в Париж. Как только вернусь, я сообщу вам окончательный ответ.

Никаких других объяснений от него нельзя было добиться, и он уехал на следующий день.

Поездка длилась долго. Прошла неделя, другая, третья, а г-н де Кутелье не возвращался. Супруги Курвиль, удивленные, обеспокоенные, не знали, что и сказать своей приятельнице; они уже предупредили ее о намерениях барона. Через день к нему послали на дом за вестями, но никому из его слуг ничего не было известно.

Однажды вечером, когда г-жа Вилер пела, аккомпанируя себе на рояле, в комнату с великой таинственностью вошла няня, вызвала г-на де Курвиля и сказала ему шепотом, что его спрашивает один господин. То был барон, постаревший, изменившийся, в дорож-

ном костюме. Едва завидев своего друга, он схватил его за руку и сказал усталым голосом:

— Я только что приехал, мой дорогой, и прибежал к вам, я больше не могу ждать.

Затем он замялся, видимо, смущенный:

— Я хотел вам сказать... тотчас же... что с этим... что с этим делом... ну, вы знаете... ничего не вышло...

Г-н де Курвиль ошеломленно смотрел на него.

— Как? Ничего не вышло? Почему?

— О, не спрашивайте меня, пожалуйста, мне слишком больно говорить об этом, но будьте уверены, что я поступаю... как честный человек. Я не могу... Я не имею права, понимаете, не имею права жениться на этой даме. Я подожду, пока она уедет, и тогда приду к вам; видеть ее для меня слишком мучительно. Прощайте.



И он убежал.

Вся семья обсуждала его слова, спорила, строила тысячи предположений. Пришли к заключению, что в жизни барона была какая-то тайна, быть может, незаконные дети, а то и старая связь. Словом, дело было, по-видимому, серьезное; во избежание затруднительных осложнений г-жу Вилер осторожно предупредили, и она как приехала, так и уехала вдовой.

Прошло еще три месяца. Однажды вечером, плотно пообедав, немного выпив и закурив в обществе г-на де Курвиля трубку, г-н де Кутелье сказал ему:

— Если бы вы знали, как часто я вспоминаю о вашей приятельнице, вам бы стало меня жалко.

Тот, несколько задетый поведением барона в этом деле, высказался не без горячности:

— Черт возьми, друг мой, когда в жизни человека есть тайны, не заходят так далеко, как зашли вы. Могли же ведь вы конце концов предвидеть причины своего отступления!

Барон, смутившись, перестал курить.

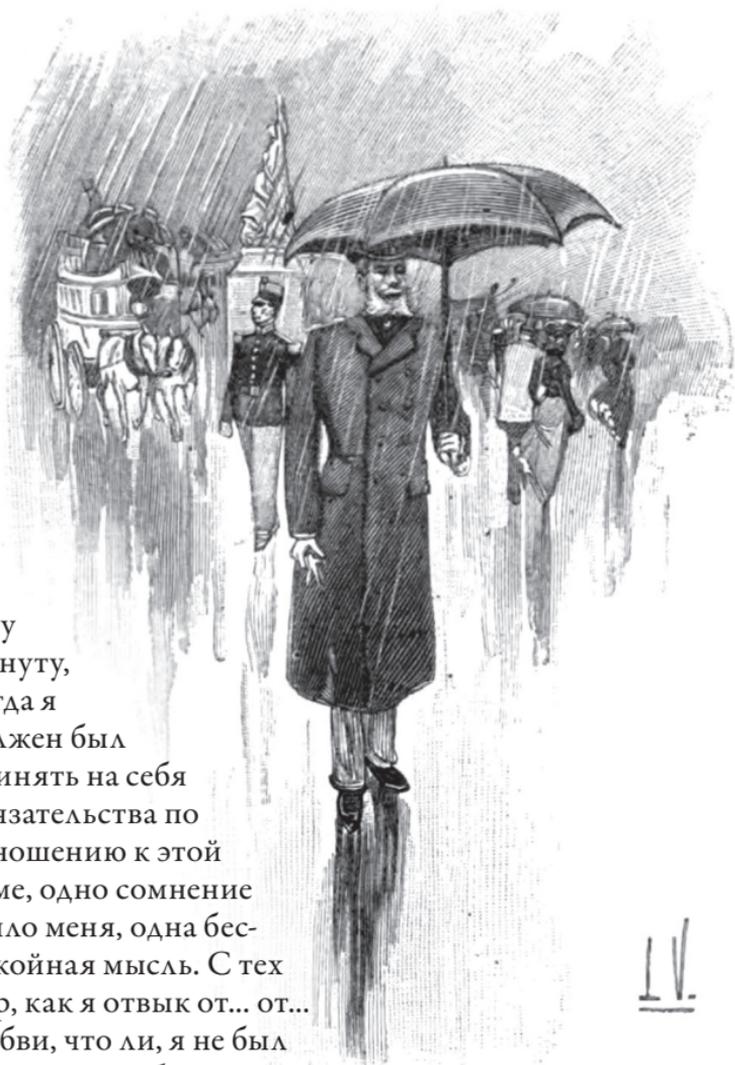
— И да, и нет. Словом, я не ожидал того, что случилось.

Г-н де Курвиль раздраженно возразил:

— Все надо предвидеть.

Но г-н де Кутелье, вглядываясь в темноту, чтобы увериться, что их никто не слышит, сказал шепотом:

— Я отлично понимаю, что обидел вас, и расскажу вам всю правду, чтобы заслужить прощение. Вот уже двадцать лет, друг мой, как я живу только охотой. Я люблю только охоту, как вы знаете, и занимаюсь только ею.



В ту
минуту,
когда я
должен был
принять на себя
обязательства по
отношению к этой
даме, одно сомнение
взяло меня, одна бес-
покойная мысль. С тех
пор, как я отвык от... от...
любви, что ли, я не был
уверен, способен ли... спо-
собен ли я.. вы понимаете...

IV

Подумайте-ка, вот уже ровно шестнадцать лет, как я... как я... как я... в последний раз... ну, да это ясно. Здесь, в нашем краю, это не так легко... не так легко... вы согласитесь с этим. К тому же у меня были другие дела. Я предпочитаю стрелять из ружья. Короче говоря, в ту минуту, когда я должен был связать себя обязательствами перед мэром и священником насчет... насчет того... что вам известно... я испугался. Я сказал себе: "Дьявольщина! а что, если... что, если вдруг... осечка?" Честный человек никогда не нарушает принятых на себя обязательств, а ведь я брал на себя священные обязательства по отношению к этой особе. Словом, для очистки совести я решил поехать на неделю в Париж.

Неделя кончается — и ничего, ровно ничего! И не потому, чтобы я не пытался. Я брал все, что было самого лучшего и во всевозможных вкусах. Уверю вас, они делали все, что могли... Да... уж, конечно, они ничего не упустили... Но что поделаешь? Они всегда отступались... ни с чем... ни с чем... ни с чем...

Я подождал еще две недели, затем три недели, продолжая надеяться. Я проглотил в ресторанах множество острых блюд, чем окончательно расстроил себе желудок... и... и... ничего... всегда — ничего!

Вы понимаете, что при таких обстоятельствах, ясно все это установив, мне ничего не оставалось, как только... только... отступить... Что я и сделал...

Г-н де Курвиль напрягал все силы, чтобы не расхохотаться. Он значительно пожал руку барону, промолвив: "Мне очень жаль вас", — и проводил его подороги. Затем, очутившись наедине с женой, он рассказал ей все

это, задыхаясь от смеха. Но г-жа де Курвиль не смеялась; она слушала внимательно и, когда муж кончил, ответила ему с глубокой серьезностью:

— Барон — глупец, друг мой, он просто испугался. Я напишу Берте, чтобы она приезжала, и поскорее.

А когда г-н де Курвиль сослался на длительные и безуспешные опыты своего друга, она сказала:

— Пустяки! Если только муж любит жену, понимаете, это... возвращается.

И г-н де Курвиль, сам немного сконфузившись, не ответил ничего.

МАРРОКА

Друг мой, ты просил сообщать тебе о моих впечатлениях, о случающихся со мною происшествиях и, главное, о моих любовных историях в этой африканской стране, так давно меня привлекавшей. Ты заранее от души смеялся над моими будущими, по твоему выражению, черными утками, и тебе уже представлялось, как я возвращаюсь домой в сопровождении громадной черной женщины, одетой в яркие ткани и с желтым фуляром на голове.

Конечно, очередь негритянок еще придет: я уже видел нескольких, и они внушали мне желание окунуться в эти чернила. Но для начала я напал на нечто лучшее и исключительно своеобразное.

Ты писал в последнем письме: "Если я знаю, как в данной стране любят, я сумею описать эту страну, хотя никогда ее и не видел". Знай же, что здесь любят неистово. Начиная с первых дней чувствуешь какой-то огненный трепет, какой-то подъем, внезапное напряжение желаний, какую-то истому, целиком охватывающую тело; и все это до крайности возбуждает наши любовные силы и все способности физических ощущений — от простого соприкосновения рук до той невыразимо-властной потребности, которая заставляет нас совершать столько глупостей.

Разберемся в этом как следует. Не знаю, может ли существовать под этим небом то, что вы называете слиянием сердец, слиянием душ, сентиментальным идеа-

лизмом, наконец платонизмом, я в этом сомневаюсь. Но другая любовь, любовь чувственная, имеющая в себе нечто хорошее, и немало хорошего, в этом климате поистине страшна. Жара, это постоянно разжигающее вас пылание воздуха, эти удушливые порывы южного ветра, эти потоки огня, льющиеся из великой пустыни, которая так близка, этот тяжелый сирокко, более опустошительный, более иссушающий, чем пламя, этот вечный пожар всего материка, сожженного до самых камней огромным, всепожирающим солнцем, воспламеняют кровь, приводят в бешенство плоть, превращают человека в зверя.

Но подхожу к моей истории. Ничего не рассказываю тебе о первых днях моего пребывания в Алжире. Побывав в Боне, Константине, Бискре и Сетифе, я приехал в Буджию через ущелья Шабе и по несравненной дороге через кабийские леса; дорога эта вьется над морем по извилинам гористого склона, на высоте двухсот метров, вплоть до восхитительного залива Буджии, столь же прекрасного, как Неаполитанский залив, как заливы Аяччо и Дуарнене, красивейшие из всех, мною виденных. Я исключаю из этого сравнения лишь невероятный залив Порто на западном берегу Корсики, опоясанный красным гранитом, с возвышающимися посреди него фантастическими окровавленными каменными великанами, именуемыми "Calanche de Piana".

Не успеешь обогнуть огромный залив с его мирно спящей водой, как уже издалека, еще очень издалека, замечаешь Буджию. Город построен на крутых скло-



нах высокой, увенчанной лесом горы. Это — белое пятно на зеленом склоне, похожее, пожалуй, на пену свергающегося в море водопада.

Едва я вступил в этот маленький очаровательный городок, как понял, что останусь в нем надолго. Со всех сторон взор ограничен громадным кругом крючковых, зубчатых, рогатых, причудливых вершин, замкнутых так тесно, что едва видно открытое море, и залив становится похожим на озеро. Голубая вода с молочным отливом восхитительно прозрачна, а лазурное небо, такой густой лазури, словно покрытое двойным слоем краски, простирает над нею свою изумительную красоту. Они словно любят друг друга, взаимно отражая свои отсветы.

Буджия — город развалин. На пристани, подъезжая к нему, встречаешь такую великолепную руину, что ее можно принять за оперную декорацию. Это древние сарацинские ворота, сплошь заросшие плющом. И в прилегающих горных лесах повсюду тоже развалины — части римских стен, обломки сарацинских памятников, остатки арабских построек.

Я снял в верхнем городе маленький мавританский домик. Ты знаешь эти жилища, их описывали так часто. Окон наружу у них нет, и они освещаются сверху донизу внутренним двором. Во втором этаже помещается большая прохладная зала, в которой проводят время днем, а наверху — терраса, где проводят ночи.

Я тотчас же усвоил привычки жарких стран, то есть стал делать после завтрака сиесту. Это душливо-знойный час в Африке, час, когда нечем дышать, когда улицы, долины и бесконечные, ослепительные дороги пустынно, когда все спят или по крайней мере пытаются спать, оставляя на себе как можно меньше одежды.

В моей зале с колоннами арабской архитектуры я поставил большой мягкий диван, покрытый ковром из Джебель-Амура. Я ложился на него приблизительно в costume Гасана, но не мог отдыхать, так как был измучен своим воздержанием.

О друг мой, в этой стране есть две казни, которых не желаю тебе узнать: отсутствие воды и отсутствие женщин. Какая ужаснее? Не знаю. В пустыне можно пойти на всякую подлость из-за стакана чистой холодной воды. А чего только не сделаешь в ином при-

брежном городе ради красивой, здоровой девушки? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, они там в изобилии; но, если продолжить сравнение, они так же вредоносны и гниlostны, как илистая вода источников Сахары.

И вот однажды, более обычного истомленный, я попытался задремать, но тщетно. Ноги мои дрожали, словно их колото изнутри; беспокойная тоска заставляла меня то и дело вертеться с боку на бок по коврам. Наконец, не в силах выносить долее, я встал и вышел.

Это было в июле, в палящий послеполуденный час. Мостовые были так раскалены, что на них можно было печь хлеб; рубашка, моментально взмокавшая, прилипала к телу; весь горизонт был затянут легким белым паром, тем горячим дыханием сирокко, которое подобно осязаемому зною.

Я спустился к морю и, огибая порт, пошел по берегу, вдоль небольшой бухты, где выстроены купальни. Крутые горы, поросшие кустарником и высокими ароматными травами с крепким запахом, кольцеобразно окружают бухту, где вдоль всего берега мокнут в воде большие темные скалы.

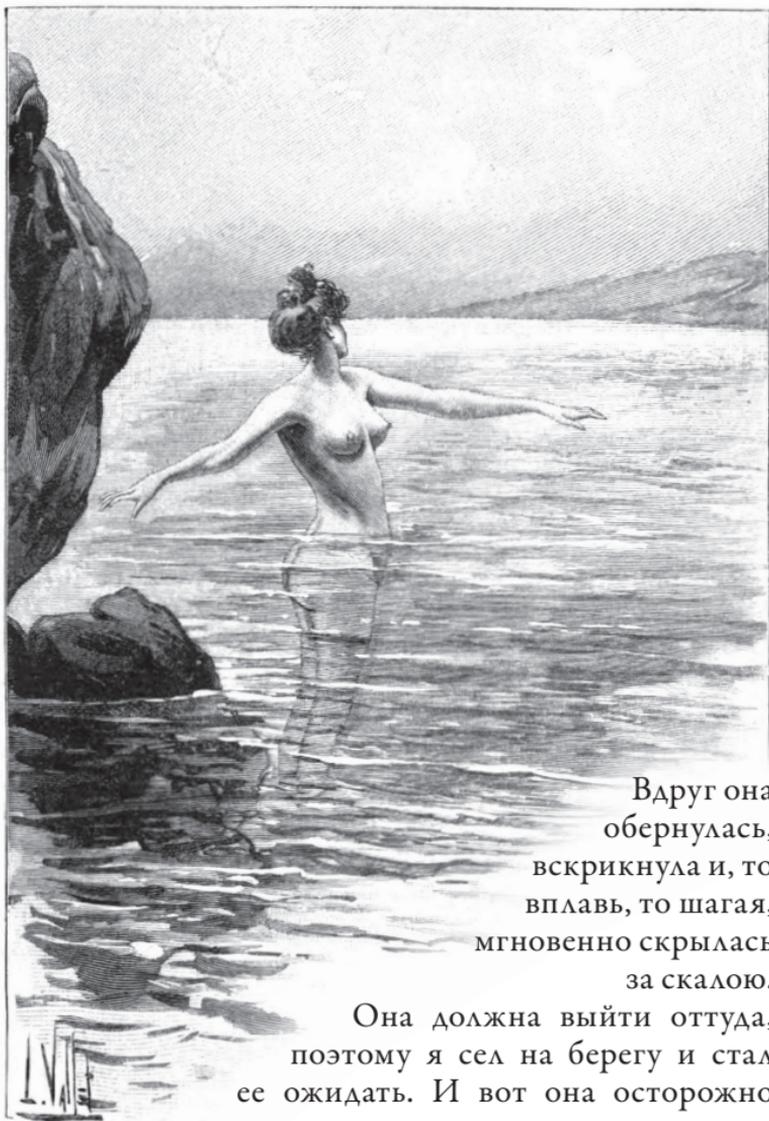
Кругом никого: все замерло; ни крика животных, ни шума крыльев птицы, ни малейшего звука, ни даже всплеска воды — так неподвижно было море, казалось, оцепеневшее под солнцем. И мне чудилось, что в раскаленном воздухе я улавливаю гудение огня.

Внезапно за одной из этих скал, до половины тонущих в молчаливом море, я услышал легкий шорох и, обернувшись, увидел, по грудь в воде, высокую голую де-



вушку; она купалась и в этот знойный час, конечно, считала себя в полном одиночестве. Лицо ее было обращено к морю, и она тихо подпрыгивала, не замечая меня.

Ничего не могло быть удивительнее зрелища этой красивой женщины в прозрачной, как стекло, воде, под ослепительными лучами солнца. Она была необыкновенно хороша, эта женщина, высокая и сложенная, как статуя.



Вдруг она
обернулась,
вскрикнула и, то
вплавь, то шагая,
мгновенно скрылась
за скалою.

Она должна выйти оттуда,
поэтому я сел на берегу и стал
ее ожидать. И вот она осторожно
высунула из-за скалы голову с массою

тяжелых черных волос, кое-как закрученных узлом. У нее был большой рот с вывороченными, как валики, губами, громадные бесстыдные глаза, а все ее тело, слегка потемневшее от здешнего климата, казалось выточенным из старинной слоновой кости, упругим и нежным, телом белой расы, опаленным солнцем негров.



Она крикнула мне:

— Проходите!

В ее звучном голосе, немного грубоватом, как вся ее особа, слышались гортанные ноты. Я не шевелился.

Она прибавила:

— Нехорошо оставаться здесь, сударь.

Звук "р" в ее устах перекатывался, как грохочущая телега. Тем не менее я не двинулся. Голова исчезла.

Прошло десять минут, и сначала волосы, затем лоб, затем глаза показались вновь, медленно и осторожно: так делают дети, играющие в прятки, желая взглянуть на того, кто их ищет.

Но на этот раз у нее было гневное выражение, и она крикнула:

— Из-за вас я захвораю! Я не выйду, пока вы будете там сидеть!

Тогда я поднялся и ушел, неоднократно оглядываясь.

Убедившись, что я достаточно далеко, она вылезла из воды, полусогнувшись, держась ко мне боком, и исчезла в углублении скалы, за повешенной юбкой.

На другой день я вернулся. Она снова была в воде, но на этот раз в полном купальном костюме. Она засмеялась, показывая мне свои сверкающие зубы.

Неделю спустя мы были друзьями. А еще через неделю наша дружба стала еще теснее.

Ее звали Маррока; наверно, это было какое-нибудь прозвище, и она произносила его, точно в нем было пятнадцать "р". Дочь испанских колонистов, она вышла замуж за некоего француза, по фамилии Понтабез. Ее муж был чиновником на государственной службе. Я так никогда и не узнал хорошенько, какую именно должность он занимал. Я убедился в том, что он очень занятой человек, и далее не расспрашивал.

Переменив час своего купания, она стала ежедневно приходить после моего завтрака — совершать сиесту в моем доме. И что это была за сиеста! Если бы только так отдыхали!

Она действительно была очаровательной женщиной, немного животного типа, но все же великолепной. Ее глаза, казалось, всегда блестели страстью; полураскрытый рот, острые зубы, самая улыбка ее таили в себе нечто дико-чувственное, а странные груди, удлиненные и прямые, острые, как груши, упругие, словно на стальных пружинах, придавали телу нечто животное, превращали ее в какое-то низшее и великолепное существо, предназначенное для распутства, и пробуждали во мне мысль о тех непристойных боже-

ствах древности, которые открыто расточали свободные ласки на траве под листвой.

Никогда еще ни одна женщина не носила в своих чреслах такого неутолимого желания. Ее страстные ласки и объятия, сопровождавшиеся воплями, скрежетом зубов, судорогами и укусами, почти тотчас же завершались сном, глубоким, как смерть. Но она внезапно пробуждалась в моих руках и опять готова была к любви, и грудь ее взбухла в жажде поцелуев.

Ум ее к тому же был прост, как дважды два четыре, а звонкий смех заменял ей мысль.

Инстинктивно гордясь своею красотою, она питала отвращение даже к самым легким покровам и



расхаживала, бегала и прыгала по моему дому с бессознательным и смелым бесстыдством. Пресытась наконец любовью, измученная воплями и движениями, она засыпала крепким и мирным сном возле меня на

диване; от удушливой жары на ее потемневшей коже проступали крошечные капельки пота, а ее руки, закинутые под голову, и все сокровенные складки ее тела выделяли тот звериный запах, который так привлекает самцов.

Иной раз она приходила вечером, когда муж ее был где-то на работе. И мы располагались на террасе, чуть прикрываясь легкими и развевающимися восточными тканями.

Когда, в полнолуние, громадная яркая луна тропических стран стояла на небе, освещая город и залив с его полукругом гор, мы видели вокруг себя, на всех других террасах, как бы целую армию распластавшихся безмолвных призраков, которые иногда вставали, переменили место и укладывались снова в томной теплоте отдыхающего неба.

Невзирая на ясность африканских вечеров, Маррока упорно ложилась спать голою под яркими лучами луны; она нисколько не беспокоилась о всех тех людях, которые могли нас видеть, и часто, презирая мои мольбы и опасения, испускала среди ночного мрака протяжные трепетные крики, в ответ на которые издали раздавался вой собак.

Однажды вечером, когда я дремал под необъятным небосводом, сплошь усыпанным звездами, она стала на колени возле меня на ковре и, приблизив к моему рту свои большие вывороченные губы, сказала:

— Ты должен прийти ночевать ко мне.

Я не понял.

— Как это — к тебе?



— Ну, да. Когда муж уйдет, ты придешь спать на его место.

Я не мог удержаться и расхохотался.

— К чему это, раз ты приходишь сюда?

Она продолжала, говоря мне прямо в рот, обжигая меня своим горячим дыханием до самого горла и увлажняя мои усы:

— Чтобы у меня сохранилась память о тебе.

И "р" слова сохранилась еще долго с шумом потока звучало в скалах.

Я никогда не мог постичь ее мысль. Она обвила руками мою шею.

— Когда тебе вскоре придется уехать, — сказала она, — я не раз буду думать об этом. И, прильнув к мужу, буду представлять, что это ты.

Все ррре, ррри, ррра казались в ее устах раскатами близкой грозы.

Тронутый да и развеселившийся, я прошептал:

— Но ты сумасшедшая. Я предпочитаю ночевать дома.

У меня действительно нет ни малейшей склонности к свиданиям под супружеской кровлей, — это мышеловка, в которую постоянно попадают дураки. Но она просила, умоляла и даже плакала, прибавляя:

— Ты посмотрирришь, как я буду тебя любить.

Посмотрирришь прозвучало наподобие грохота барабана, бьющего тревогу.

Ее желание показалось мне таким странным, что я не мог его ничем объяснить; затем, поразмыслив, я решил, что здесь примешалась какая-то глубокая ненависть к мужу, одно из тех тайных возмездий женщины, которая

с наслаждением обманывает ненавистного человека и хочет вдобавок насмеяться над ним в его собственном доме, среди его обстановки, в его постели.

Я спросил ее:

— Твой муж дурно обращается с тобой?

Она рассердилась.

— О нет, он очень добр.

— Но ты его не любишь?

Она вскинула на меня громадные изумленные глаза.

— Нет, напротив, я его очень люблю, очень, очень, но не так, как тебя, мое сердце.

Я совсем уже ничего не понимал, и пока старался что-либо угадать, она запечатлела на моих губах один из тех поцелуев, силу которых отлично знала, прошептав затем:

— Ты прридешь, не пррравда ли?

Однако я не соглашался. Тогда она немедленно оделась и ушла.

Восемь дней она не показывалась. На девятый появилась и, с важностью остановившись на пороге моей комнаты, спросила:

— Пррридешь ли ты сегодня вечеррром ко мне спать? Если нет, я уйду.

Восемь дней — это много, мой друг, а в Африке эти восемь дней стоят целого месяца. "Да!" — крикнул я, протянул к ней руки, и она бросилась в мои объятия.

Вечером она ждала меня на соседней улице и привела к себе.

Они жили близ пристани, в маленьком, низеньком домике. Я прошел сначала через кухню, где супруги

обедали, и вошел в комнату, выбеленную известью, чистую, с фотографическими карточками родственников на стенах и с букетами бумажных цветов под стеклянными колпаками. Маррока казалась обезумевшей от радости; она прыгала, повторяя:

— Вот ты и у нас, вот ты и у себя.

Я действительно расположился, как у себя.

Признаюсь, я был немного смущен, даже беспокоен. Видя, что я не решаюсь в чужой квартире расстаться с некоторой принадлежностью моей одежды, без которой застигнутый врасплох мужчина становится столь же смешным, сколь и неловким, неспособным к какому бы то ни было действию, она вырвала у меня силой и унесла в соседнюю комнату, вместе с ворохом остальной моей одежды, и эти ножны моего мужества.

Наконец обычная уверенность вернулась ко мне, и я изо всех сил старался доказать это Марроке, так что спустя два часа мы еще и не помышляли об отдыхе, как вдруг громкие удары в дверь заставили нас вздрогнуть, и громовой мужской голос прокричал:

— Маррока, это я!

Она вскочила.

— Мой муж! Живо, прячься под кровать!

Я растерянно искал свои штаны; но она, задыхаясь, толкала меня:

— Иди же, иди!

Я распластался на полу и скользнул, не говоря ни слова, под ту кровать, на которой мне было так хорошо.

Она прошла на кухню. Я слышал, как она отперла шкаф, заперла его, затем вернулась, принеся с собой какой-то

предмет, которого я не видел, но который она живо куда-то сунула, и так как муж терял терпение, она ответила ему громко и спокойно: "Не могу найти спичек", — а затем вдруг: "Нашла, отпирраю!" И отперла дверь.

Мужчина вошел. Я видел только его ноги, огромные ноги. Если все остальное было пропорционально, он, должно быть, был великаном.

Я услышал поцелуй, шлепок по голому телу, смех; затем он сказал с марсельским выговором:

— Я забыл дома кошелек, и пришлось воротиться. Я думал, что ты уже спишь крепким сном.

Он подошел к комоду и долго искал в нем то, что ему было нужно; затем, когда Маррока легла на кровать, словно подкошенная усталостью, он подошел к ней и, без сомнения, попытался ее приласкать, так как она в раздраженной фразе выпалила в него карточью гневных "р".

Ноги его были так близко от меня, что мною овладело сумасбродное, глупое, необъяснимое искушение — тихонько дотронуться до них. Но я воздержался.

Потерпев неудачу в своих планах, он рассердился.

— Ты злющая сегодня, — сказал он.

Но примирился с этим:

— До свидания, крошка.

Снова раздался звонкий поцелуй; затем огромные ноги повернулись, блеснули передо мною крупными шляпками гвоздей, перешли в соседнюю комнату, и дверь на улицу захлопнулась.

Я был спасен. Смирный, жалкий, я медленно вылез из своего убежища, и пока Маррока, по-прежнему голая, плясала вокруг меня джигу, раскатисто смеясь и хлопая

в ладоши, я тяжело упал на стул. Но тотчас же так и подпрыгнул: подо мной оказалось что-то холодное, и так как я был одет не лучше моей сообщницы, то вздрогнул от этого прикосновения. Я обернулся. Что же? Я сел на небольшой топорик для колки дров, острый, как нож. Как он попал сюда? Я не заметил его, когда входил.

Маррока, увидев мой прыжок, задохнулась от хохота; она вскрикивала, кашляла, схватившись обеими руками за живот.

Я находил эту веселость непристойной, неуместной. Мы глупо рисковали жизнью, у меня еще до сих пор бежали мурашки по спине, и ее безумный смех немного задевал меня.

— А что, если бы я попался на глаза твоему мужу? — спросил я.

— Опасаться было нечего, — отвечала она.

— Как опасаться было нечего! Уж очень ты смела! Стоило ему только нагнуться, и он бы увидел меня.

Она перестала смеяться; она только улыбалась, глядя на меня громадными неподвижными глазами, в которых зарождались новые желания.

— Он не нагнулся бы.

Я настаивал:

— Сколько угодно! Урони он свою шляпу, ему пришлось бы ее поднять, и тогда... хорош бы я был в этом костюме!

Она положила мне на плечи свои сильные округлые руки и, понижая голос, словно говоря мне: "Я обожаю тебя", прошептала:

— Тогда он и не встал бы.

Я не понял.

— Почему же это?

Лукаво подмигнув, она протянула руку к стулу, на который я было сел, и ее вытянутый палец, складка у рта, полуоткрытые губы и острые зубы, блестящие и хищные, — все указывало мне на маленький, сверкавший лезвием топорик для колки дров.

Она сделала движение, словно собираясь его взять, затем, привлекая меня вплотную к себе левою рукой и прижавшись бедром к моему бедру, сделала правой рукой быстрое движение, как бы обезглавливая человека, стоявшего перед нею на коленях!..

Вот, мой дорогой, как понимают здесь супружеский долг, любовь и гостеприимство!

ПОЛЕНО

Гостиная была маленькая, сплошь затянутая темными обоями и чуть благоухавшая. Яркий огонь пылал в широком камине, а единственная лампа, стоявшая на углу каминной доски под абажуром из старинных кружев, озаряла мягким светом лица двух собеседников.

Она — хозяйка дома, седая старушка, одна из тех очаровательных старушек без единой морщины на лице, с атласистой, как тонкая бумага, и душистой кожей, пропитанной эссенциями, тонкие ароматы которых благодаря постоянным омовениям вьелись сквозь эпидерму в самую плоть; целуя руку такой старушки, чувствуешь легкое благоухание, точно кто-то открыл коробку с пудрой из флорентийского ириса.

Он — старый друг, оставшийся холостяком, еженедельный гость, добрый товарищ на жизненном пути. Но и только.

На минуту они замолчали, и оба глядели на огонь, о чем-то мечтавая, отдаваясь той паузе дружеского молчания, когда людям вовсе не надо говорить, когда им и так хорошо друг подле друга.

Внезапно обрушилась большущая головня, целый пень, ошестинившийся пылающими корнями. Перепрыгнув через решетку и вывалившись на пол гостиной, она покатилась по ковру, разбрасывая огненные искры.

Старушка вскочила с легким криком, словно собираясь бежать, но ее друг ударом сапога откинул обратно в камин огромное обуглившееся полено и затоптал угольки, рассыпавшиеся кругом.

Когда все было кончено и распространился сильный запах гари, мужчина снова сел против своей приятельницы и взглянул на нее, улыбаясь.

— Вот почему я так и не женился, — сказал он, указывая на водворенную в камин головню.

Она взглянула на него в удивлении — тем любопытствующим взглядом желающей все узнать немолодой женщины, в котором сквозит обдуманное, сложное и нередко коварное любопытство. И спросила:

— Как это?

Он отвечал:

— О, это целая история, довольно грустная и гадкая!

Мои старые товарищи не раз удивлялись охлаждению, наступившему вдруг между Жюльеном, одним из моих лучших друзей, и мною...

Они не могли понять, каким образом два закадычных, неразлучных друга сразу сделались почти чужими. Так вот какова тайна нашего расхождения.

Он и я в былые времена жили вместе. Мы никогда не расставались, и нас связывала такая крепкая дружба, что, казалось, ничто не в силах было ее разорвать.



Однажды вечером, воротясь домой, он объявил мне, что женится.

Я получил удар прямо в сердце: он меня словно обокрал или предал. Когда один из друзей женится, то дружбе конец, навсегда конец. Ревнивая любовь женщины, подозрительная, беспокойная и плотская любовь, не терпит прямодушной, бодрой привязанности, той доверчивой привязанности и ума и сердца, какая существует между двумя мужчинами.

Видите ли, сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душою всегда чужды друг другу; они остаются воюющими сторонами; они принадлежат к разной породе; тут всегда нужно, чтобы был укротитель и укрощаемый, господин и раб; и так бывает то с одним, то с другим — они никогда не могут быть равны. Они стискивают друг другу трепещущие страстью руки, но никогда не пожмут их широким, сильным и честным рукопожатием, которое словно открывает и обнажает сердца в порыве искренней, смелой и мужественной привязанности. Мудрым людям, вместо того чтобы вступить в брак и производить для утешения на старости детей, которые их покинут, лучше было бы подыскать доброго, надежного друга и стариться вместе с ним в той общности умственных интересов, какая возможна только между двумя мужчинами.

Словом, друг мой Жюльен женился. Его жена была хорошенькая, очаровательная маленькая кудрявая блондинка, живая и пухленькая; казалось, она обожала его.

Сначала я ходил к ним редко, боясь помешать их нежностям, чувствуя себя среди них лишним. Но они старались завлечь меня к себе, беспрестанно звали меня и, по-видимому, любили.

Мало-помалу я поддался тихой прелести этой общей жизни, нередко обедал у них и нередко, возвратившись домой ночью, мечтал последовать примеру Жюльена — тоже найти себе жену, так как мой пустой дом казался мне теперь очень печальным.

Они, по-видимому, обожали друг друга и никогда не расставались. Однажды вечером Жюльен написал мне, прося прийти к обеду. Я отправился.

— Милый мой, — сказал он, — мне необходимо отлучиться по делу сейчас же после обеда. Я не вернусь раньше одиннадцати, но ровно в одиннадцать буду дома. Я рассчитываю, что ты посидишь с Бертой.

Молодая женщина улыбалась.

— Это я придумала послать за вами, — сказала она.

Я пожал ей руку.

— Как вы милы!

И почувствовал, что она пожимает мне пальцы дружески и длительно. Но я не придавал этому значения. Сел за стол, и ровно в восемь Жюльен нас покинул.

Как только он ушел, между его женой и мной сразу же возникло чувство какого-то странного стеснения. Мы никогда еще не оставались одни, и, несмотря на возрастающую с каждым днем близость, очутиться наедине было для нас совершенной новостью. Я заговорил сначала о чем-то неопределенном, о тех ничего не значащих пустяках, которыми обычно заполняют

минуты затруднительного молчания. Она не отвечала, сидя против меня у другого угла камина, с опущенной головой и блуждающим взглядом, вытянув к огню ногу и погрузившись, казалось, в раздумье. Когда банальные темы иссякли, я умолк. Удивительно, до чего иногда трудно бывает найти, о чем говорить. И затем я снова почувствовал в воздухе нечто неосязаемое и невыразимое, некое таинственное веяние, которое предупреждает нас о тайных умыслах, добрых или злых, питаемых к нам другими лицами.

Некоторое время тянулось это томительное молчание. Затем Берта сказала:

— Подбросьте в камин полено, мой друг; видите, он гаснет.

Я открыл ящик для дров — он стоял совершенно, как у вас, — достал полено, самое толстое полено, и поставил его стоймя на другие поленья, почти уже сгоревшие.

Молчание возобновилось.

Через несколько минут полено запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение ее глаз показалось мне каким-то особенным.

— Теперь здесь чересчур жарко, — сказала она, — перейдемте туда, на диван.

И вот мы сели на диван.

Вдруг, глядя мне прямо в глаза, она спросила:

— Что бы вы сделали, если бы женщина сказала вам, что она вас любит?

Совершенно опешив, я ответил:

— Право, это случай непредвиденный, а затем все зависело бы от того, какова эта женщина.

Она засмеялась сухим, нервным, дрожащим смехом, тем фальшивым смехом, от которого, кажется, должно разбиться тонкое стекло, и прибавила:

— Мужчины никогда не бывают ни смелыми, ни хитрыми.

Помолчав, она спросила снова:

— Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Поль?

Я признался, что бывал влюблен.

— Расскажите, как это было, — попросила она.

Я рассказал ей какую-то историю. Она слушала внимательно, то и дело выражая неодобрение и презрение, и вдруг сказала:

— Нет, вы ничего не понимаете в любви. Чтобы любовь была настоящей, она, по-моему, должна перевернуть сердце, мучительно скрутить нервы, опустошить мозг, она должна быть — как бы выразиться? — полна опасностей, даже ужасна, почти преступна, почти святотатственна; она должна быть чем-то вроде предательства; я хочу сказать, что она должна попирать священные преграды, законы, братские узы; когда любовь покойна, лишена опасностей, законна, разве это настоящая любовь?

Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: "О, женская душа, ты вся здесь!"

Говоря все это, она напустила на себя лицемерный вид равнодушной недотроги и, откинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так что платье немного приподнялось, позволяя

видеть красный шелковый чулок, вспыхивавший по временам в отблесках камина.

Немного погодя она сказала:

— Я вам внушаю страх?

Я протестовал. Она совсем оперлась о мою грудь, и, не глядя на меня, произнесла:



— А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?

И не успел я ответить, как ее руки охватили мою шею, притянули мою голову, и губы ее прижались к моим губам.

Ах, моя дорогая, ручаюсь вам, что в ту минуту мне было далеко не весело! Как, обманывать Жюльена? Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения, страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспрепятственно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своем вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовый отдаться, бросит в меня первый камень!..

...Словом, еще минута... вы понимаете, не так ли... еще минута, и... я бы... то есть она бы... Виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг страшный шум заставил нас вскочить на ноги.

Горящее полено, да, сударыня, полено ринулось из камина, опрокинув лопатку и каминную решетку, покатилося, как огненный ураган, подожгло ковер и упало под кресло, которое неминуемо должно было загореться.

Я бросился, как безумный, а пока водворял в камин спасительную головню, дверь внезапно отворилась. Вошел Жюльен, весь сияя.

— Я свободен! — воскликнул он. — Дело кончилось двумя часами раньше!

Да, мой друг, если бы не это полено, я был бы застигнут на месте преступления. Можете представить себе последствия!

Понятно, я принял меры, чтобы никогда больше не попадать в такое положение, никогда, никогда! Затем я заметил, что Жюльен становится ко мне холоден. Жена, очевидно, подкапывалась под нашу дружбу; мало-помалу он отдалил меня от себя, и мы перестали видеться.

Я не женился. Теперь это не должно вас удивлять.



МОЩИ

Господину аббату Луи д'Эннемар в г. Суассоне.

Дорогой аббат!

Итак, свадьба моя с твоею кузиной расстроилась и притом самым глупым образом, из-за нехорошей шутки, которую я невольно сыграл с моею невестою.

Очутившись в затруднительном положении, прибегаю к твоей помощи, мой старый друг, потому что ты

можешь вызволить меня из беды. Я буду тебе за это благодарен по гроб жизни.

Ты знаешь Жильберту, или, скорее, думаешь, что знаешь, — можно ли вообще знать женщин? Все их мнения, верования и мысли полны таких неожиданно-стей! Все это у них одни увертки, хитрости, непредвиденные, неуловимые доводы, логика наизнанку, а также упорство, которое кажется непреклонным и вдруг исчезает потому только, что какая-то птичка прилетела и села на выступ окна.

Не мне извещать тебя, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями города Нанси, до крайности религиозна.

Тебе это лучше известно, чем мне. Но ты, без сомнения, не знаешь, что она восторженна во всем, как и в своем благочестии. Она увлекается, как листок, несомый ветром, и в то же время она в большей степени, чем кто бы то ни было, женщина или, вернее, молодая девушка, способная мгновенно растрогаться или рассердиться, вмиг вспыхнуть любовью или ненавистью и так же быстро остыть; к тому же она красива... как ты знаешь, и до того очаровательна, что нельзя и выразить... Но этого ты не узнаешь никогда.

Итак, мы были помолвлены; я обожал ее, как обожаю и до сих пор. Она тоже, по-видимому, любила меня.

Однажды вечером я получил телеграмму, вызывавшую меня в Кельн к больному на консультацию, за которой могла последовать серьезная и трудная операция. Так как я должен был ехать на другой день, то побежал проститься с Жильбертой и объяснить ей,

почему я не смогу прийти обедать к моим будущим тестю и теще в среду, а приду только в пятницу, в день возвращения. Ох, берегись пятниц, уверяю тебя: это зловещие дни!

Когда я заговорил об отъезде, то заметил в ее глазах слезинки, но когда сказал о скором возвращении, она тотчас же захлопала в ладоши и воскликнула:

— Какое счастье! Привезите мне что-нибудь оттуда, какой-нибудь пустяк, просто что-нибудь на память, но только вещицу, выбранную для меня. Вы должны угадать, что доставит мне всего больше удовольствия, слышите? Я увижу, есть ли у вас воображение.



Она с минуту подумала, затем сказала:

— Я запрещаю вам тратить на это более двадцати франков. Мне хочется, сударь, чтобы меня тронуло ваше желание, ваша изобретательность, а вовсе не цена.

Затем, снова помолчав, она вполголоса сказала, опуская глаза:

— Если это вам обойдется недорого и если будет остроумно и тонко, я... я вас поцелую.

На другой день я был уже в Кельне. Дело касалось несчастного случая, ужасного случая, повергшего в отчаяние целую семью. Ампутация была необходима немедленно. Мне отвели помещение, где я жил почти взаперти; кругом я только и видел заплаканных людей, и это действовало на меня отупляюще; я оперировал умиравшего, который чуть не скончался у меня под ножом; я провел возле него две ночи, а затем, как только увидел некоторые шансы на выздоровление, приказал отвезти себя на вокзал.

Я ошибся временем, и мне предстояло целый час дожидаться. Я стал бродить по улицам, все еще думая о моем бедном больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект.

Я не говорю по-немецки, а он не знал французского языка. Наконец я понял, что он предлагал мне мощи. Мысль о вещице на память для Жильберты пронизала мне сердце; я вспомнил ее фанатическую набожность. Вот мой подарок и найден! Я пошел за торговцем в магазин предметов церковного обихода и выбрал там "неполюшой кусочек останков отиннадцати тысяч теф-стенниц".

Мнимые мощи были заключены в восхитительную коробочку под старинное серебро, которая окончательно и решила мой выбор.

Я положил вещицу в карман и сел в поезд.

Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Достал ее... Коробочка оказалась открытой, и мощи потерялись! Я как следует обшарил карман, вывернул его, но крошечная косточка, с половину булавки, исчезла.

Как тебе известно, дорогой аббат, особенно пылкой верой я не отличаюсь; у тебя хватает великодушия и дружбы относиться к моей холодности терпимо и не настаивать — в ожидании будущего, как ты говоришь; но уже в мощи, продаваемые торговцами благочестия, я безусловно не верю, и ты разделяешь мои решительные сомнения на этот счет. Итак, потеря этого крошечного кусочка бараньей косточки меня нисколько не опечалила; я без труда раздобыл точно такой же и тщательно приклеил его внутри моего сокровища.

И я отправился к невесте.

Едва увидев меня, она бросилась ко мне навстречу, робея и смеясь:

— Что же вы мне привезли?

Я притворился, что забыл об этом, она не поверила. Я заставил ее просить, даже умолять, и когда увидел, что она умирает от любопытства, подал ей священный медальон. Она замерла в порыве радости.

— Мощи! О, мощи!

И страстно поцеловала коробочку. Мне стало стыдно за свой обман.

Но вдруг ею овладело беспокойство, тотчас же перешедшее в ужасную тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила:

— А вы уверены в том, что они настоящие?



— Совершенно уверен.

— Почему?

Я попался. Признаться, что косточка была куплена у уличного торговца, значило погубить себя. Что же сказать? Безумная мысль пронеслась у меня в мозгу, и я ответил, понизив голос, с таинственной интонацией:

— Я украл их для вас.

Она взглянула на меня огромными глазами, изумленными и полными восторга.

— О, вы украли их!.. Где же?

— В соборе, из раки с останками одиннадцати тысяч девственниц, — сказал я.

Сердце ее сильно билось; от счастья она была почти без чувств и пролепетала:

— О, вы сделали это... ради меня... Расскажите же... расскажите мне все!

Все было кончено, отступить я не мог. Я сочинил фантастическую историю с точными и захватывающими подробностями. Я дал сто франков сторожу, чтобы осмотреть собор одному; раку в это время ремонтировали; но я попал в тот самый час, когда рабочие и причт завтракали; приподняв какую-то створку, которую я затем тотчас же тщательно приладил на место, я успел выхватить оттуда (о, совсем крошечную!) косточку из множества других (я говорю "множества", думая о том, сколько же должно быть останков у одиннадцати тысяч скелетов девственниц). Затем я отправился к ювелиру и купил достойную оправу для мощей.

Я не отказал себе в удовольствии упомянуть ей мимоходом, что медальон обошелся мне в пятьсот франков.

Но она и не думала об этом; она слушала меня, трепеща, в экстазе. Она прошептала: "Как я вас люблю!" — и упала в мои объятия.

Заметь: я совершил из-за нее кощунство — я украл; я осквернил церковь, осквернил раку; осквернил и украл святые мощи. За это она обожала меня, находила меня нежным, идеальным, божественным. Такова женщина, дорогой аббат, такова вся женщина.

В течение двух месяцев я был самым восхитительным из всех женихов. Она устроила нечто вроде великолепной часовни, чтобы водворить там частицу котлетной косточки, побудившую меня, как она верила, пойти на такое дивное преступление во имя любви; и она ежедневно замирала в восторге перед ней утром и вечером.

Я просил ее хранить тайну, боясь, как я говорил, что меня могут арестовать, осудить, выдать Германии. Она сдержала слово.

Но вот в начале лета ее охватило безумное желание увидеть место моего подвига. Она так долго и так усердно упрашивала отца (не открывая ему тайной причины), что он повез ее в Кельн, скрыв от меня, по желанию дочери, эту поездку.

Мне нечего тебе говорить, что внутрь собора я и не заходил. Я не знаю, где находится гробница (если она только существует) одиннадцати тысяч девственниц. Увы! По-видимому, гробница эта неприступна.

Неделю спустя я получил от нее десять строк, возвращавших мне слово, и объяснительное письмо от отца, задним числом посвященного в тайну.

При виде раки она сразу поняла мой обман, мою ложь, но в то же время и мою истинную невинность. Когда она спросила у хранителя мощей, не было ли тут когда-нибудь кражи, тот расхохотался, доказывая всю неосуществимость подобного покушения.

И вот, с той минуты, когда оказалось, что я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственной руки в чтимые останки, я более не был достоин моей белокурой и утонченной невесты.

Мне отказали от дома. Тщетно я просил, молил; ничто не могло растрогать набожную красавицу.

С горя я заболел.

На прошлой неделе ее кузина, которая одновременно приходится кузиной и тебе, г-жа д'Арвиль, попросила меня зайти к ней.

Я могу быть прощен на следующих условиях. Я должен привезти мощи какой-нибудь девственницы или мученицы, но настоящие, доподлинные, засвидетельствованные нашим святейшим отцом папой.

Я готов сойти с ума от затруднений и беспокойства.

В Рим я поеду, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему о своем дурацком приключении. Да я и сомневаюсь, чтобы подлинные мощи доверались частным лицам.

Не можешь ли ты дать мне рекомендацию к кому-либо из кардиналов или хотя бы к кому-нибудь из французских прелатов, владеющих останками какой-либо святой? И нет ли у тебя самого в твоих коллекциях требуемого драгоценного предмета?

Спаси меня, дорогой аббат, и я обещаю тебе обратиться десятью годами раньше!

Г-жа д'Арвиль горячо принимает все это к сердцу, и она сказала мне:

— Бедной Жильберте никогда не выйти замуж.

Мой старый товарищ, неужели ты допустишь, чтобы твоя кузина умерла жертвой глупой проделки? Умоляю тебя, помешай ей стать одиннадцать тысяч первой девственницей.

Прости меня, я недостойный человек; но я обнимаю и люблю тебя от всего сердца.

*Твой старый друг
Анри Фонталь.*

КРОВАТЬ

Однажды, прошлым летом, в знойный послепо-
луденный час, огромный аукционный зал, казалось,
погрузился в дремоту, и оценщики объявляли о по-
купках умирающими голосами. В углу одной из зал
второго этажа лежала куча старинных церковных об-
лачений.

Там были торжественные мантии и очарователь-
ные ризы с вышитыми вокруг символических букв
на пожелтелом шелковом фоне гирляндами, который
стал кремовым из белого, каким был когда-то.

Присутствовало несколько барышников, двое или
трое мужчин с грязными бородами и дородная тол-
стобрюхая женщина, одна из так называемых торго-
вок нарядами, а на самом деле советчица и укрыва-
тельница запретной любви, торгующая столько же
молодым и старым человеческим телом, сколько но-
выми и старыми тряпками.

Стали продавать прелестную ризу эпохи Людови-
ка XV, красивую, как платье маркизы, хорошо сохра-
нившуюся, с гирляндой ландышей вокруг креста, с
длинными голубыми ирисами, поднимавшимися до
самого подножия священной эмблемы, и венками роз
по углам. Купив ризу, я заметил, что она еще хранит
чуть слышное благоухание, словно пропитавшись ла-
даном или, вернее, еще тая в себе легкие и сладостные
ароматы былого, которые кажутся уже не запахом, а
воспоминанием о запахе, душою испарившихся бла-
говоний.

Придя домой, я хотел накрыть ею маленький стул той же восхитительной эпохи, но, примеряя ее, ощутил вдруг под пальцами шуршание бумаги. Когда я подполз подкладку, к моим ногам упало несколько писем. Они пожелтели от времени, а выцветшие чернила казались ржавчиною. На сложенном по-старинному ли-

сте было начертано тонким почерком: "Господину аббату д'Аржансэ".

В первых трех письмах просто назначались свидания.

А вот четвертое:

Друг мой, я больна, совсем изнемогаю и не встаю с постели. Дождь стучит мне в стекла, и, лежа в тепле согревающих меня пуховиков, я лениво мечтаю. Со мною одна книга, которую я люблю и которую как будто отчасти написала я сама.

Назвать ли вам ее заглавие? Нет. Вы станете бранить меня. Почитав, я отдаюсь думам, и мне хочется вам кое о чем рассказать.



Под спину мне подложили подушки; они поддерживают меня, и я, сидя, пишу вам на том маленьком пюпитре, который вы мне подарили.

Так как я три дня не покидаю своей кровати, то о кровати я и думаю, продолжая возвращаться к ней мыслью даже во сне.

Кровать, друг мой, — это вся наша жизнь. На ней рождают, на ней любят, на ней умирают.

Если бы я обладала пером г-на де Кребийльона, я написала бы историю какой-нибудь кровати. Сколько потрясающих, ужасных приключений, но зато сколько приключений красивых и нежных! Сколько назидательных уроков можно извлечь из нее, сколько поучительных рассказов для всех!

Вы знаете мою кровать, друг мой. Вы никогда не сможете представить себе, сколько всего открыла я в ней за эти три дня и как возросла моя любовь к ней. Она кажется мне обитаемой, посещаемой, если можно так выразиться, вереницею людей, о которых я и не подозреваю, но которые, тем не менее, оставили в ней нечто от самих себя.

О, я не понимаю тех, кто покупает кровати новые, кровати без воспоминаний! Моя, наша кровать, такая старая, такая подержанная и просторная, должна хранить память о стольких жизнях — от рожденья до могилы. Подумайте об этом, друг мой, подумайте обо всем; вспомните, сколько поколений прошло между этими четырьмя колонками, под этим балдахинном, вышитым фигурками, натянутым над нашими головами и столько всего перевидавшим. Чему только не был он свидетелем за три века, пока он там!



Вот распростертая молодая женщина. Время от времени у нее вырывается вздох, потом она стонет; ее окружают старики, родные; и вот на свет появляется маленькое, скрюченное, сморщенное существо, мяукающее, как котенок. Так начинается человеческая жизнь. Она, молодая мать, чувствует себя страдающе-радостной; она замирает от счастья при первом крике ребенка и задыхается, и протягивает к нему руки; и все вокруг плачет от радости, потому что этот маленький комочек живого тела, отделившийся от нее, — это продолжение семьи, продолжение крови, сердца и души стариков, которые с трепетом глядят на него.

Вот впервые двое любящих очутились телом к телу в этой скинии жизни. Они трепещут, но, охваченные восторгом, сладостно упоены своей близостью, и уста их постепенно сближаются. Их соединяет поцелуй, божественный поцелуй — дверь в земной рай, поцелуй, который поет о людских наслаждениях, сулит их всегда, возвещая их и предвосхищая. И кровать колышется, как взволнованное море, вгибается и рокочет, и сама кажется одушевленной, радостной, ибо на ней свершается пьянящее таинство любви. Что может быть в нашем мире слаще, совершеннее этих объятий, сливающихся воедино два существа и дарующих в этот момент каждому из них одну и ту же мысль, одно и то же ожидание, одну и ту же безумную радость, которая сходит на них, как всепожирающее небесное пламя!

Помните ли стихи, которые вы мне читали в прошлом году, стихи какого-то старого поэта, не знаю чьи, может быть, нежного Ронсара?

Если ляжем на кровать
И сплетемся, — нам под стать
Все восторги, как бывалым
Тем любовникам, чья страсть
Перепробует — и всласть —
Сто затей под одеялом.

Мне хотелось бы вышить эти стихи на балдахине моей кровати, с которого Пирам и Тисба без усталости глядят на меня своими вытканными глазами.

А вспомните о смерти, друг мой, о всех тех, кто испустил последний вздох на этой кровати. Ведь она также и могила конченных надежд, все закрывающая дверь, после того как она была вратами, отверзающими мир. Сколько воплей, сколько страха, страданий, ужасного отчаяния, предсмертных стонов, простертых к былому рук, навеки смолкших призывов счастья, сколько судорог, хрипов, гримас, перекошенных ртов, закатившихся глаз видела эта кровать, где я вам пишу, сколько их видела она за три века, в течение которых простирала над людьми свой кров!

Кровать, вдумайтесь в это, — символ жизни; я догадалась об этом только три дня тому назад. Нет ничего более значительного, чем наша кровать.

И не является ли сон лучшим из мгновений нашей жизни?

Но здесь также страдают! Ложе — прибежище больных, место страданий износившейся плоти.

Кровать — это человек. Господь наш Иисус Христос, дабы доказать, что в нем не было ничего человеческого,

никогда, кажется, не нуждался в кровати. Он родился на соломе и умер на кресте, предоставив слабым существам, вроде нас, это ложе изнеженности и отдыха.

Сколько еще других мыслей пришло мне в голову! Но некогда их записывать, да разве все их вспомнишь! И потом я уже так устала, что хочу вытащить подушки из-за спины, протянуться всем телом и уснуть.

Приходите навестить меня завтра в три часа; быть может, я буду лучше себя чувствовать и смогу вам это доказать.

Прощайте, друг мой, вот вам для поцелуя мои руки; вот вам также и губы.

СУМАСШЕДШИЙ?

Сумасшедший ли я? Или только ревную? Не знаю, но я страдал жестоко. Я совершил безумный поступок, акт яростного безумия. Это так; но душившая меня ревность, но восторженная, преданная и поруганная любовь, но отвратительная боль, которую я испытываю, — разве всего этого не достаточно, чтобы побудить нас совершать преступления и безумства, хотя бы мы и не были на самом деле преступниками ни сердцем, ни умом?

О, я страдал, страдал, страдал — долго, мучительно, ужасно. Я любил эту женщину с неистовой страстью... И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Я был и остался ее вещью, ее игрушкой. Я принадлежу ее улыбке, ее губам, ее взгляду, линиям ее тела, овалу ее лица; я задыхаюсь под игом ее внешности, но она, обладательница этой внешности, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна; она женщина погибели, чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человек-зверь и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округлой плоти, в котором живет Бесчестие.

Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, как бы вызывая



во мне жажду,
заставляли
меня рас-
крывать рот.
В полдень
они были
серые, в
сумерки —
зеленоватые
и на восходе
солнца —
голубые. Я
не безумец:

клянусь, что у них были эти три света.

В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи, а ее тяжелые веки медленно поднимались, открывая жгучий и замирающий взгляд, сводивший меня с ума.

Сжимая ее в объятиях, я вглядывался в ее глаза и дрожал, томясь желанием убить этого зверя и необходимостью обладать ею непрерывно.

Когда она ходила по моей комнате, то каждый ее шаг потрясал мое сердце, а когда она начала раздеваться, сбрасывала платье и появлялась, бесстыдная и сияющая, из волн белья, падавшего у ее ног, я ощущал во всех членах, в руках и ногах, в тяжело дышавшей груди, бесконечную и подлую порабощенность.

В один прекрасный день я увидел, что она пресытилась мною. Я заметил это по ее глазам при пробуждении. Склонившись над нею, я каждое утро с нетерпением ждал ее первого взгляда. Я ожидал его, полный злобы, ненависти, презрения к этому спящему зверю, невольником которого я был. Но когда показывалась бледная лазурь ее зрачков, льющаяся как вода, еще томная, еще усталая, еще измученная от недавних ласк, во мне мгновенно вспыхивало пламя, безудержно обостряя мой пыл. В этот же день, когда она раскрыла глаза, из-под ресниц на меня глянул угрюмый и безразличный взгляд, и в нем больше не было желания.

О, я увидел, почувствовал, узнал, тотчас же понял этот взгляд! Все было кончено, кончено навсегда. И доказательства этого попадались мне каждый час, каждое мгновение.

Когда я призывал ее объятиями и губами, она скучающе отворачивалась, шепча: "Оставьте же меня!" или: "Вы мне противны!" или: "Неужели мне никогда не будет покоя!"

Тогда я стал ревнивым. Но ревнивым, как собака, хитрым, недоверчивым, скрытным. Я отлично знал,



что она скоро опять возьмется за старое, что на смену мне явится другой и зажжет ее чувства.

Я ревновал бешено: но я не сошел с ума, нет, конечно, нет.

Я ждал; о, я шпионил за нею, она не обманула бы меня; но она по-прежнему была холодная, сонливая. Порою она говорила: "Мужчины внушают мне отвращение". И это была правда.

Тогда я стал ее ревновать к ней самой; ревновать к ее безразличию, ревновать к одиночеству ее ночей; ревновать к ее жестам, к ее мыслям, которые всегда казались мне бесчестными, ревновать ко всему, о чем я догадывался. И когда я порой замечал у нее по утрам тот влажный взор, который бывал когда-то после наших пылких ночей, словно какое-то вожделение опять всколыхнуло ее душу и возбудило ее желания, я задыхался от гнева, дрожал от негодования, от неутолимой жажды задушить ее, придавить коленом и, сдавливая ей горло, заставить покаяться во всех постыдных тайнах ее души.

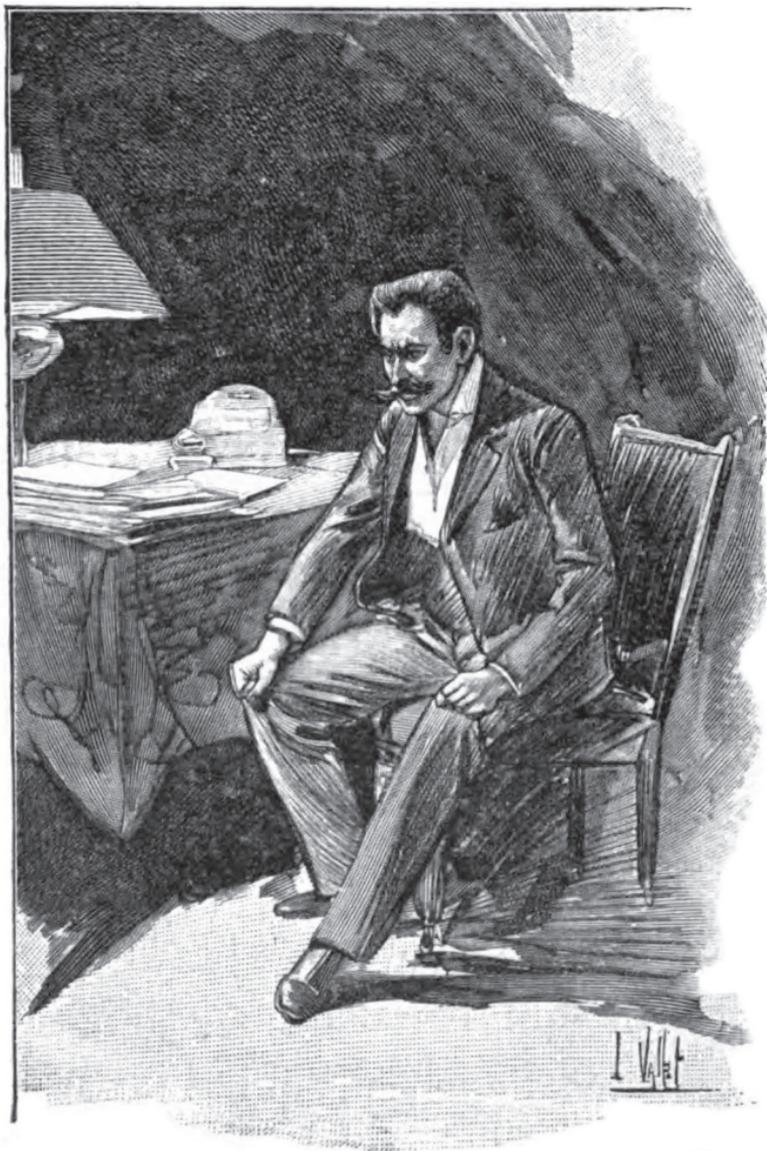
Сумасшедший ли я? Нет.

Но вот однажды вечером я почувствовал, что она счастлива. Я почувствовал, что какая-то новая страсть трепетала в ней. Я был в этом уверен, непоколебимо уверен. Она вздрагивала, как после моих объятий; ее глаза горели, руки были горячие, от всего ее трепетавшего тела исходил тот любовный хмель, который доводил меня до безумия.

Я притворялся, что ничего не замечаю, но внимание мое опутывало ее, как сетью.

Тем не менее я ничего не открыл.

Я ждал неделю, месяц, несколько месяцев. Она расцвела непонятной страстью и замирала в блаженстве неуловимой ласки.



И вдруг я догадался! Я не сумасшедший! Клянусь, что я не сумасшедший!

Как это высказать? Как заставить себя понять? Как выразить эту отвратительную и непостижимую вещь?

Вот каким образом все стало мне известно.

Однажды вечером, как я сказал, вернувшись домой после длинной прогулки верхом, она упала на низкий стул против меня; ее щеки пылали, сердце сильно колотилось, взор был изнемогающий, и она едва держалась на ногах. Я знавал ее такою! Она любила! Я не мог ошибиться!

Теряя голову и чтобы больше не смотреть на нее, я отвернулся к окошку и увидел лакея, отводившего под уздцы в конюшню ее сильного коня, вздымавшегося на дыбы.

Она также провожала взглядом горячего, рвавшегося жеребца. А когда он исчез, она сразу же заснула.

Я продумал всю ночь, и мне показалось, что я проникаю в тайны, которых никогда не подозревал. Кто сможет измерить когда-нибудь всю извращенность женской чувственности? Кто поймет женщин, их невероятные капризы, странное утоление ими самых странных фантазий?

Каждое утро с рассвета она галопом носилась по долинам и лесам, и каждый раз возвращалась истомленная, словно после неистовств любви.

Я понял! Я ревновал ее теперь к сильному, быстрому жеребцу; ревновал к ветру, ласкавшему ей лицо, когда она мчалась в безумном галопе; ревновал к листьям, целовавшим на лету ее уши; к каплям солнца, падавшим

ей на лоб сквозь ветки деревьев; ревновал к седлу, на котором она сидела, плотно прижавшись к нему бедром.

Все это делало ее счастливой, возбуждало, насыщало, истомляло и затем возвращало ее мне бесчувственной и почти в обмороке.

Я решил отомстить. Я стал кроток и полон внимания к ней. Я подавал ей руку, когда она соскакивала на землю, возвращаясь после своих необузданных поездок. Бешеный конь бросался на меня; она похлопывала его по выгнутой шее, целовала трепетавшие ноздри, не отирая после этого губ; и аромат ее тела, всегда в поту, как после жаркой постели, смешивался в моем обонянии с острым звериным запахом животного.

Я ждал своего часа. Каждое утро она проезжала по одной и той же тропинке в молодой березовой роще, уходившей в лес.

Я вышел до рассвета, с веревкою в руке и парой спрятанных на груди пистолетов, словно собираясь драться на дуэли.

Я бегом направился к ее излюбленной тропинке, натянул веревку между двумя деревьями и спрятался в траве.

Припав ухом к земле, я услышал его далекий галоп, затем вдали увидел и его самого, несшегося во весь опор под листвой, как бы в конце какого-то свода. Нет, я не ошибся: это было то самое! Она казалась вне себя от радости, кровь прилила к ее щекам, во взоре было безумие; нервы ее трепетали в одиноком и неистовом наслаждении от стремительной быстроты скачки.

Животное зацепилось за мою преграду передними ногами и рухнуло на землю, ломая себе кости. Ее же

я подхватил на руки. Я так силен, что могу поднять и вола. Затем, когда я спустил ее на землю, то приблизился к нему — а он глядел на нас — и в ту минуту, когда он попытался укусить меня, я вложил ему в ухо пистолет и застрелил его... как мужчину.

Но тут я тоже упал — и лицо мое рассекли два удара хлыста, и когда она снова бросилась на меня, я выпустил второй заряд ей в живот.

Сумасшедший ли я, скажите?

ПРОБУЖДЕНИЕ

Вот уже три года, как она вышла замуж и не покидала долины Сирэ, где у ее мужа были две прядильни. Она жила спокойно, счастливо, без детей, в своем домике, спрятавшемся под деревьями и прозванном рабочими "замком".

Муж, г-н Вассер, гораздо старше ее, был очень добр. Она любила его, и никогда ни одно преступное желание не проникало в ее сердце. Мать ее приезжала каждое лето в Сирэ, а затем возвращалась обратно в Париж на зиму, когда начинали падать листья.

Каждую осень Жанна немного кашляла. Узкая долина, по которой змеилась речка, погружалась в туман на целых пять месяцев. Сначала над лугами носился легкий пар, отчего долина становилась похожей на большой пруд с выплывавшими из него крышами домов. Затем это белое облако, поднимаясь, подобно морскому приливу, охватывало все, превращало долину в страну призраков, обитатели которой скользили, как тени, не узнавая в десяти шагах друг друга. Окутанные туманом деревья высились, заплесневев от сырости.

Но те, кому случалось проходить по соседним холмам и смотреть на белое углубление долины, видели, как из тумана, скопившегося на уровне холмов, высились две высокие трубы фабрик г-на Вассера, и из них день и ночь поднимались к небу две змеи черного дыма.

Только одно это и указывало, что в этой впадине, казалось, заполненной облаком ваты, все-таки жили люди.

И вот в этом году, когда наступил октябрь, доктор посоветовал молодой женщине провести зиму у матери в Париже: климат долины становился опасным для ее легких.

Она уехала.

Первые месяцы она беспрестанно думала о покинутом доме, к которому уже так привыкла, где она любила свою обстановку и спокойное течение дней.

Но мало-помалу она сжилась с новой жизнью и вошла во вкус праздников, обедов, вечеров и танцев. В ее манерах до сих пор сохранилось что-то девичье, что-то неопределенное и сонливое — немного вялая походка, немного усталая улыбка. Теперь же она стала оживленной, веселой, всегда готовой к всевозможным удовольствиям.



Мужчины ухаживали за нею. Она забавлялась их болтовнею, играла их поклонением, чувствуя себя способной противостоять им и немного разочарованной в любви, какой узнала ее в брачной жизни.

Мысль отдать свое тело грубым ласкам этих бородастых существ заставляла ее хохотать от жалости и слегка вздрагивать от отвращения. Она с изумлением спрашивала себя, как могли женщины соглашаться на эти унижительные сближения с посторонними мужчинами, если их и без того принуждали к этому мужья. Она любила бы своего супруга гораздо нежнее, если бы они жили как двое друзей, ограничиваясь целомудренными поцелуями, этими ласками душ.

Но ее немало забавляли комплименты, загоравшиеся в глазах и не разделяемые ею желания, прямые нападения, нашептываемые на ухо любовные признания после тонкого обеда, когда переходят из столовой в гостиную; эти слова, произносимые так тихо, что их приходилось скорее угадывать, оставляли ее плоть холодной, а сердце спокойным и щекотали лишь ее бессознательное кокетство, но от них в ее душе загоралось пламя удовлетворения, расцветала на губах улыбка, блестел ее взгляд, трепетала ее женская душа, принимающая поклонение, как должное.

Она любила беседы с глазу на глаз, в сумерках, у камина, когда в гостиной уже темнеет и мужчина делается настойчивым, лепечет, дрожит и падает на колени. Для нее было изысканною и новою радостью чувствовать эту страсть, которая ее не задевала, говорить "нет" головой и губами, отнимать руки, вставать и хладнокровно



звонить, приказывая зажечь лампы, и видеть, как тот, кто дрожал у ее ног, поднимается в смущении и ярости, заслышав шаги лакея.

Она умела смеяться сухим смешком, замораживавшим пылкие речи, знала жесткие слова, которые, как струя ледяной воды, обрушивались на жаркие уверения, знала интонации, заставлявшие человека, без памяти влюбленного в нее, думать о самоубийстве.

Двое молодых людей преследовали ее особенно упорно. Они ничем не походили друг на друга.

Один из них, г-н Поль Перонель, был вполне светский молодой человек, любезный и смелый, человек удачи, умевший ждать и выбирать подходящий момент.

Другой, г-н д'Авансель, подходя к ней, трепетал, едва осмеливался признаться ей в любви, но следовал за нею, как тень, выражая отчаявшееся желание безумными взглядами и упорством своего присутствия возле нее.

Первого она прозвала "Капитан Фракасс", а второго "Верный барашек" и превратила его в конце концов в своего раба, ходившего за нею по пятам и прислуживавшего ей точь-в-точь как слуга.

Она расхохоталась бы, если бы ей сказали, что она сможет полюбить его.

А между тем она его полюбила, но по-особому. Видя его постоянно, она привыкла к его голосу, к его движениям, ко всем его манерам, как привыкают к тем, вблизи кого постоянно живут.

Часто в сновидениях его образ посещал ее; она видела его таким, каким он был в жизни; мягким, деликатным, смиренно-страстным; она пробуждалась, преследуемая воспоминанием об этих снах, как бы продолжая слушать его и чувствовать около себя. Однажды ночью (быть может, у нее была лихорадка) она увидела себя с

ним наедине, в маленькой рощице, где они сидели на траве.

Он говорил чарующие слова, сжимая и целуя ей руки. Она чувствовала теплоту его кожи, его дыхание и ласково гладила его волосы.

Во сне бываешь совсем иным, чем в жизни. Она ощущала в себе огромную нежность к нему, спокойную и глубокую нежность и была счастлива тем, что прикасается к его лбу и находится возле него.

Мало-помалу он обнимал ее, целовал ей щеки и глаза, и она ничуть не пыталась избежать этого; затем их губы встретились. Она отдалась.



То был миг (в жизни не бывает таких восторгов) сверхострого и сверхчеловеческого счастья, идеального и чувственного, пьянящего, незабываемого.

Она проснулась дрожа, взволнованная, и не могла заснуть, настолько чувствовала себя опьяненной и все еще в его объятиях.

Когда она снова увидела его, не ведающего о том, какое он вызвал волнение, она почувствовала, что краснеет, и пока он робко говорил ей о своей любви, она все время вспоминала, не будучи в силах избавиться от этого, сладостные объятия своего сна.

Она полюбила его, полюбила странную любовью, тонченную и чувственную, создавшейся главным образом из воспоминаний об этом сне, и в то же время боялась пойти навстречу пробудившемуся в ее душе желанию.

Наконец он заметил это. И она призналась ему во всем, вплоть до того, как боялась его поцелуев. Она взяла с него клятву, что он будет ее уважать.

И он уважал ее. Они проводили вместе долгие часы в восторгах возвышенной любви, когда сливаются только души, и затем расставались распаленные, измученные, обессиленные.

Иногда губы их соединялись, и, закрыв глаза, они вкушали эту долгую, но целомудренную ласку.

Она поняла, что не сможет противиться долго, и, не желая пасть, написала мужу, что собирается вернуться к нему и возобновить свою спокойную, уединенную жизнь.

Он отвечал превосходным письмом, отговаривая ее возвращаться в разгар зимы, чтобы не подвергнуть себя резкой перемене климата, ледяным туманам долины.

Она была подавлена и негодовала на этого доверчивого человека, не понимавшего, не почувывшего борьбу в ее сердце.

Февраль был ясный и теплый, и хотя она теперь избегала долго оставаться наедине с "Верным барашком", но порою соглашалась совершить с ним в сумерках прогулку в карете вокруг озера.

В этот вечер, казалось, пробудились все соки земли, — так теплы были дуновения воздуха. Маленькая карета ехала шагом; спускалась ночь; прижавшись друг к другу, они сплели руки. "Кончено, конечно, я погибла", — твердила она себе, чувствуя, как в ней поднималось желание, властная потребность того последнего объятия, которое она так полно испытала во сне. Их губы ежеминутно искали друг друга, сливались и размыкались, чтобы тотчас же встретиться вновь.

Он не посмел проводить ее к ней и оставил ее, обезумевшую и изнемогавшую, у дверей.

Г-н Поль Перонель ждал ее в маленькой неосвещенной гостиной.

Дотронувшись до ее руки, он почувствовал, что ее сжигала лихорадка. Он заговорил вполголоса, нежно и любезно, баюкая эту истомленную душу прелестью любовных признаний. Она слушала его в какой-то галлюцинации, не отвечая, мечтая о том другом, думая, что слышит другого, представляла себе, что это он близ нее. Она видела лишь его, помнила, что на свете существует только он один, и когда ее слух затрепетал при этих трех словах: "Я люблю вас", — то их говорил и целовал ее пальцы тот другой. Это он сжимал ее грудь, как толь-

ко что в карете, это он осыпал ее губы победными поцелуями, это его она обнимала, стискивала, призывала всем порывом своего сердца, всем неистовым пылом своего тела.

Когда она пробудилась от этого сна, у нее вырвался ужасный крик.

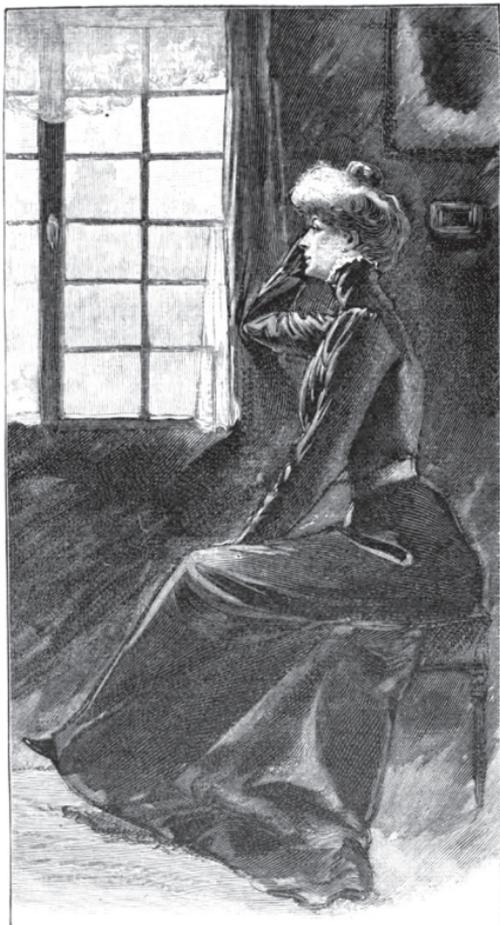
"Капитан Фраккас", стоя на коленях перед нею, страстно благодарил ее, покрывая поцелуями ее распутившиеся волосы. Она закричала:

— Уходите, уходите, уходите!

И так как он не понимал и пытался снова обнять ее талию, она вырвалась, лепеча:

— Вы низкий человек, я вас ненавижу, вы меня обокрали, уходите!

Он встал, ошеломленный, взял шляпу и вышел.



На другой день она вернулась в долину Сирэ. Изумленный муж упрекнул ее в упрямстве.

— Я не могла дальше жить вдали от тебя, — сказала она.

Он нашел, что она изменилась, стала более печальной, чем прежде, и спросил:

— Что с тобою? У тебя несчастный вид. Чего бы тебе хотелось?

Она ответила:

— Ничего. В жизни хороши только сны.

"Верный барашек" приехал навестить ее на следующее лето.

Она встретила его без волнения и без сожаления, поняв вдруг, что никогда его не любила, кроме одного мига во сне, от которого ее так грубо пробудил Поль Перонель.

А молодой человек, по-прежнему продолжавший обожать ее, думал, возвращаясь домой: "Женщины — поистине причудливые, сложные и необъяснимые существа".



ХИТРОСТЬ

Старый доктор и молодая его пациентка болтали у камина. Она чувствовала лишь одно из тех легких недомоганий, какие нередки у хорошеньких женщин, — небольшое малокровие, нервы, намек на усталость, на ту усталость, которую испытывают иногда молодожены к концу первого месяца брака, если женятся по любви.

Лежа на шезлонге, она говорила:

— Нет, доктор, я никогда не пойму, как может женщина обманывать мужа. Я допускаю даже, что она может не любить его и совершенно не считаться со своими

обещаниями и клятвами! Но как посмеешь отдаться другому человеку? Как скрыть это от глаз света? Как можно любить среди лжи и измены?

Доктор улыбался:

— Ну, это нетрудно. Уверяю вас, об этих мелочах вовсе и не думают, когда охватывает желание пасть. Я уверен даже, что женщина созревает для настоящей любви, только пройдя через всю интимность и все отрицательные стороны брака, который, по выражению одного знаменитого человека, не что иное, как обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью. Это очень верно. Женщина может полюбить страстно, лишь побывав замужем. Если бы я посмел сравнить ее с домом, я бы сказал, что в нем можно жить лишь после того, как муж осушит там штукатурку. Что же касается умения притворяться, то женщинам этого не занимать стать. Самые недалекие из них бывают изумительны и гениально выпутываются из труднейших положений.

Но молодая женщина, казалось, не верила...

— Нет, доктор, женщины только потом соображают, что следовало бы им сделать в опасных обстоятельствах, и, разумеется, способны терять голову гораздо более, чем мужчины.

Доктор развел руками.

— Только потом, говорите вы? Это у нас, у мужчин, вдохновение является только потом. Но вы!.. Да вот я расскажу вам маленькое происшествие, случившееся с одной из моих пациенток, которой я мог бы, как говорится, дать причастие без исповеди.

Это случилось в одном провинциальном городе.

Однажды вечером, когда я спал тем глубоким и тяжелым первым сном, от которого так трудно пробудиться, мне показалось в каком-то неотчетливом сновидении, что на всех городских колокольнях бьют в набат.

Я сразу проснулся: то звонил, и отчаянно, колокольчик у моей входной двери. Так как слуга не отзывался, я тоже дернул шнурок, висевший у кровати; вскоре хлопнули дверями, шум шагов нарушил тишину спавшего дома, и появился Жан, держа в руке записку, гласившую: "Г-жа Лельевр убедительно просит г-на доктора Симеона пожаловать к ней немедленно".

Несколько секунд я размышлял, но решил: "Что-нибудь вроде нервов, какой-нибудь каприз, какая-нибудь ерунда, нет, я слишком утомлен". И я ответил: "Чувствуя сильное нездоровье, доктор Симеон просит г-жу Лельевр позвать к себе его коллегу, г-на Бонне".

Затем я положил записку в конверт, отдал ее и снова заснул.

Полчаса спустя колокольчик с улицы затрезвонил снова, и Жан доложил:

— Там кто-то опять, не то мужчина, не то женщина — не разберу, уж очень закутан, — желает видеть вас, сударь, и немедленно. Говорит, что дело касается жизни двух людей.

Я приподнялся:

— Пусть войдут.

Я ждал, сидя в постели.

Появился какой-то черный призрак, который тотчас по выходе Жана из комнаты открыл свое лицо. То была

г-жа Берта Лельевр, молоденькая женщина, три года назад вышедшая замуж за крупного местного торговца, про которого пошла молва, что он женился на самой красивой девушке во всей округе.

Она была ужасно бледна, лицо ее подергивалось, как у человека, теряющего разум, руки дрожали; два раза собиралась она заговорить, но ни один звук не вылетал из ее рта. Наконец она пролепетала:

— Скорее, доктор... скорей... Едемте... Мой... мой... любовник умер у меня в спальне...

Она замолчала, задыхаясь, затем добавила:

— А муж... должен сейчас... вернуться из клуба...

Я вскочил с постели, не подумав даже, что был в одной рубашке, и оделся в несколько секунд. Затем я спросил:

— Это вы сами только что приходили?

Окаменев от ужаса и стоя неподвижно, как статуя, она прошептала:



— Нет... это моя служанка... Она знает...

Затем, помолчав, прибавила:

— Я оставалась... подле него.

Вопль ужасной боли вырвался вдруг из ее уст, затем удушье сжало ей горло, и она заплакала, отчаянно и судорожно рыдая минуту или две; но слезы внезапно остановились, иссыкли, словно осушенные внутренним огнем, и, снова став трагически спокойной, она сказала:

— Поедьте скорей!

Я был готов, но воскликнул:

— Черт возьми, я не приказал заложить карету!

Она отвечала:

— У меня его карета. Она дожидалась его.

Она снова закутала себе все лицо. Мы поехали. Очувтившись рядом со мной во мраке экипажа, она резко схватила меня за руку, сжала ее своими тонкими пальцами и пролепетала запинаясь, словно ей мешали говорить перебои разрывающегося сердца:

— О, если бы вы знали, если бы вы знали, как я страдаю! Я любила его, любила без памяти, как сумасшедшая, шесть месяцев.

Я спросил:

— Проснулся ли кто-нибудь у вас в доме?

Она отвечала:

— Никто, за исключением Розы; ей все известно.

Остановились у подъезда; в доме действительно все спали; мы вошли без шума, открыв дверь запасным ключом, и поднялись по лестнице на цыпочках. Служанка, растерянная, сидела на верхней ступеньке; воз-

ле нее, на полу, стояла зажженная свеча, она побоялась остаться возле покойника.

Я вошел в комнату. Все в ней было вверх дном, как после драки. Измятая, разваленная и неприбранная постель оставалась открытой и, казалось, кого-то ждала; одна простыня свесилась на ковер; мокрые салфетки, которыми молодому человеку терли виски, валялись на полу около таза и стакана. Запах уксуса, смешанный с духами Любэна, вызывал тошноту уже на пороге комнаты.

Вытянувшись во весь рост, на спине, посреди комнаты лежал труп.

Я подошел, взглянул, потрогал его, открыл ему глаза, пощупал пульс; затем, обернувшись к обесившим женщинам, дрожащим, словно они замерзли, сказал:

— Помогите мне перенести его на кровать.

И его тихо положили туда. После этого я выслушал сердце, приблизил зеркало ко рту и прошептал:

— Все кончено, давайте поскорее оденем его.

Это было ужасное зрелище!

Я брал одну за другой его руки и ноги, словно члены тела огромной куклы, и натягивал на них одежду, подаваемую мне женщинами. Мы надели на него носки, кальсоны, брюки, жилет, затем сюртук; стоило немало труда просунуть его руки в рукава.

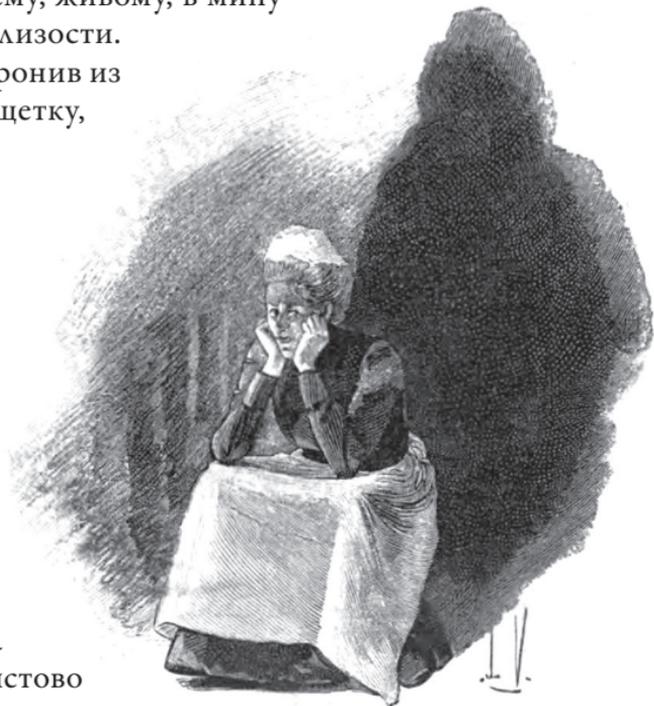
Когда надо было застегивать башмаки, обе женщины опустились на колени, а я светил им; ноги немного опухли, и обуть их было невероятно трудно. Не найдя крючка, женщины вынули из своих волос шпильки.

Когда это страшное одевание было закончено, я взглянул на нашу работу и сказал:

— Надо его немного причесать.

Горничная принесла щетку и гребенку своей госпожи; но так как руки у нее дрожали и она произвольными движениями вырывала длинные спутанные пряди волос, то г-жа Лельевр выхватила у нее гребень и нежно пригладила прическу, словно лаская ее. Она сделала заново пробор, расчесала щеткой бороду, затем не спеша намотала на палец усы, как, без сомнения, привыкла делать ему, живому, в минуту любовной близости.

И вдруг, выронив из рук гребень и щетку, она схватила неподвижную голову своего любовника и долго с отчаянием смотрела на это мертвое лицо, которое ей больше не улыбалось; затем, упав на мертвеца, она крепко обняла его и стала неистово целовать.



Поцелуи сыпались на его сомкнутый рот, на потухшие глаза, на виски, на лоб. Затем, прикинув к его уху, словно он еще мог ее слышать, и словно собираясь шепнуть слово, рождающее самые пылкие объятия, она раз десять повторила раздирающим голосом:

— Прощай, любимый!

Часы пробили полночь.

Я вздрогнул:

— Черт возьми! Полночь — это время, когда запирается клуб. За дело, сударыня, поживее!

Она поднялась. Я приказал:

— Отнесем его в гостиную!

Мы подняли его втроем и перенесли; затем я посадил его на диван и зажег канделябры.

Наружная дверь отворилась и тяжело захлопнулась. То был он, уже! Я крикнул:

— Роза, принесите мне поскорее салфетки и таз и приберите спальню; скорей, скорей, ради бога! Господин Лельевр возвращается.

Я слышал, как шаги поднимались по лестнице, приближались. Руки в темноте шарили по стенам. Тогда я крикнул:

— Сюда, мой друг, у нас тут несчастье!

Ошеломленный муж появился на пороге с сигарой во рту.

— Что такое? Что случилось? Что тут происходит? — спросил он.

Я подошел к нему.

— Друг мой, вы застаете нас в большом затруднении. Я засиделся, болтая с вашей женой и нашим другом,

который привез меня в своей карете. Вдруг он сразу как-то сник и вот уже два часа, невзирая на все наши заботы, остается без сознания. Мне не хотелось звать других. Помогите же мне вынести его; я займусь им, когда он будет у себя.

Муж, удивленный, но без малейшего недоверия, снял шляпу, затем взял под мышки своего соперника, отныне уже безопасного. Я впрягся между его ног, как лошадь в оглобли, и мы спустились по лестнице, освещаемой женою.

Когда мы были в дверях, я поставил труп на ноги и заговорил с ним, подбадривая его, чтобы обмануть кучера:

— Ну же, дорогой друг, это пустяки; вы уже чувствуете себя лучше, не так ли? Мужайтесь, ну же, мужайтесь, еще маленькое усилие — и все будет кончено.

Чувствуя, что он сейчас упадет, что он выскользывает у меня из рук, я сильно толкнул его плечом и таким образом продвинул его вперед, просунул в карету, куда затем вошел и сам.

Муж, обеспокоенный, спрашивал меня:

— Как вы думаете, это серьезно?

Я, улыбаясь, отвечал: "Нет" — и взглянул на жену.

Взяв под руку своего законного мужа, она пристально смотрела в темную глубину кареты.

Я пожал им руки и приказал кучеру ехать. Всю дорогу мертвец навалился мне на правое плечо.

Когда мы приехали к нему, я объявил, что он по дороге потерял сознание. Я помог внести его в комнату, а затем констатировал смерть; мне пришлось разыграть

целую новую комедию перед растерявшейся семьей. Наконец я добрался до своей постели, проклиная всех влюбленных на свете.

Доктор умолк, продолжая улыбаться.

Молодая женщина недовольно спросила:

— Зачем рассказали вы мне эту ужасную историю?

Он любезно поклонился:

— Чтобы при случае предложить вам свои услуги.

ВЕРХОМ

Бедные люди жили, перебиваясь кое-как, на скромное жалование мужа. У них родилось двое детей, и стесненное положение первого времени превратилось в бедность, смиренную, скрытую и стыдливую бедность дворянской семьи, желающей, несмотря ни на что, сохранить известное общественное положение.



Гектор де Гриблен получил образование в провинции, в отцовском поместье, под руководством старого аббата. Жили там небогато, но все же внешне старались поддерживать приличный тон.

Затем, когда он достиг двадцати лет, ему приискали место, и он поступил в Морское министерство на полуторатысячный оклад. И на этом подводном камне он потерпел крушение, — подобно всем тем, кто не подготовлен заблаговременно к жестокой жизненной борьбе, кто видит жизнь, как в тумане, кто не знаком ни со средствами успеха, ни со способами сопротивления подобно всем тем, в ком не были развиты с детства особые дарования, или личные способности, или суровая энергия в борьбе, подобно всем тем, кому не вручили ни оружия войны, ни орудия труда.

Первые три года его службы были ужасны.

Разыскав некоторых друзей своей семьи, старых, оставших от жизни и тоже небогатых людей, которые проживали на дворянских улицах, на печальных улицах Сен-Жерменского предместья, он составил себе круг знакомых.

Чуждые современности, смиренные и гордые, эти обданные аристократы ютились в верхних этажах уснувших домов. Снизу доверху эти здания были населены титулованными жильцами, но деньги были, казалось, такую же редкостью во втором этаже, как и в седьмом.

Вечные предрассудки, заботы о своем общественном положении, боязнь уронить свое достоинство неотвязно преследовали эти семьи, некогда блестящие, теперь же разоренные из-за бездеятельности мужчин. В этом

мирке Гектор де Гриблен встретил девушку, благородную и бедную, как он сам, и женился на ней.

За четыре года у них родилось двое детей.

В течение четырех следующих лет эта семья, измученная нуждой, не знала иных развлечений, кроме прогулок в Елисейские поля по воскресеньям и одного — двух вечеров зимою в театре по даровым билетам, предложенным кем-нибудь из сослуживцев.

Но вот однажды весной чиновнику была поручена начальником дополнительная работа, и он получил дополнительное вознаграждение в сумме трехсот франков.

Принеся эти деньги домой, он сказал жене:

— Дорогая Анриетта, мы должны разрешить себе какое-нибудь удовольствие, ну хоть прогулку за город с детьми.

После длинных обсуждений было решено отправиться в деревню завтракать.

— Ну, один раз куда ни шло! — воскликнул Гектор. — Мы найдем



брэк для тебя, детей и няни, а я возьму в манеже лошадь. Мне это будет очень полезно.

Всю неделю только и говорили о предполагаемой прогулке.

Каждый вечер Гектор, вернувшись со службы, брал старшего сына, сажал его к себе верхом на колено и говорил, высоко подбрасывая его:

— Вот как твой папа поскачет галопом на прогулке в воскресенье.

И мальчуган целый день садился верхом на стулья и возил их кругом по зале, крича:

— Это папа на лошадке.

Даже служанка смотрела на барина с восхищением при мысли, что он будет сопровождать верхом их коляску; и в течение каждого обеда она слушала его рассуждения о верховой езде, рассказы о прежних его подвигах в доме отца. О, он прошел хорошую школу, и раз уже сидит на лошади, то ничего не боится, ровно ничего!

Он повторял жене, потирая руки:

— Если бы мне дали лошадь немного погорячее, я был бы в восторге. Ты увидишь, как я поскачу, и если хочешь, мы вернемся через Елисейские поля ко времени разъезда из Леса. Так как у нас будет вполне приличный вид, то я не прочь встретить кого-нибудь из министерства. Ничто так не вызывает уважения у начальства.

В назначенный день экипаж и верховая лошадь одновременно были поданы к подъезду. Гектор тотчас же спустился вниз, чтобы осмотреть своего коня. Он приказал подшить к брюкам штрипки и помахивал хлыстиком, купленным накануне.

Он поднял и ощупал одну за другой все четыре ноги животного, потрогал шею, круп, подколенки, испытующе провел рукой по бокам, открыл лошади рот, осмотрел зубы, определил возраст и, так как вся семья сошла вниз, прочел им маленькую теоретическую и практическую лекцию о лошадях вообще и, в частности об этой, которую он признавал отличной.

Когда все уселись в экипаж, он осмотрел подпругу, а затем, поднявшись на одно стремя, грохнулся на спину лошади, которая запрыгала под его тяжестью и чуть не сбросила всадника.

Взволнованный Гектор пытался ее успокоить:

— Ну, ну, тихо, милая, тихо.

Когда наконец лошадь успокоилась, а к седоку возвратился его апломб, Гектор произнес:

— Готовы?

Все ответили в один голос:

— Да.

Тогда он скомандовал:

— В дорогу!

И кавалькада двинулась.

Все взгляды были обращены на Гектора. Он ездил по-английски, преувеличенно подсакивая. Не успев опуститься на седло, он уже подпрыгивал вновь, точно желая взлететь на воздух. Часто казалось, что он вот-вот упадет на шею лошади; он ехал, уставившись в одну точку, с искаженным лицом и побледневшими щеками.

Жена его, держа одного из детей на коленях, и няня, у которой находился другой, беспрестанно повторяли:

— Смотрите на папу, смотрите на папу!

И оба мальчика, опьяненные движением, весельем и свежим воздухом, пронзительно визжали. Лошадь, испуганная этими криками, помчалась наконец галопом, и пока всадник старался ее остановить, шляпа его слетела на землю. Кучеру пришлось слезать за ней с козел, и когда Гектор получил ее от него, он крикнул жене:

— Не давай детям так кричать, а то лошадь меня понесет!

Завтракали на траве, в роще Везине, провизией, привезенной в корзинах.

Хотя кучер и заботился о всех трех лошадях, но Гектор вставал каждую минуту, чтобы посмотреть, не нуждается ли в чем-нибудь его конь, гладил его по шее, кормил хлебом, пирожками и сахаром.

— Это бедовый скакун, — заявил он жене. — Первое время он меня даже несколько порастряс, но ты видела, как скоро я оправился; он почуял хозяина и теперь больше дурить не будет.

Как и было решено, возвращались Елисейскими полями.

Широкая аллея кишмя кишела экипажами. Гуляющих по обеим сторонам было так много, что казалось — от Триумфальной арки до площади Согласия развертывались две черные длинные ленты. Потoki солнца изливались на всю эту толпу, играя на лакированных колясках, на металлических частях упряжи, на ручках дверец.

Это скопище людей, экипажей и животных было как будто охвачено каким-то безумием движения, опьяне-

нием жизнью. А вдали, в золотой дымке, высился обелиск.

Как только лошадь Гектора миновала Триумфальную арку, она снова загорячилась и помчалась крупной рысью среди экипажей по направлению к конюшне, не смотря на все попытки всадника удержать ее.

Коляска оставалась теперь уже далеко-далеко позади, и вот у Дворца промышленности, увидев перед собою свободное пространство, лошадь повернула направо и понеслась галопом.

Какая-то старуха в переднике спокойным шагом переходила через дорогу; она оказалась как раз на пути Гектора, скакавшего во всю прыть. Не имея сил остановить лошадь, он стал кричать изо всей мочи:

— Эй! Эй! Берегись!

Старуха, должно быть, была глуха; она спокойно продолжала свой путь до той самой минуты, пока лошадь, летевшая, как локомотив, не ударила ее грудью и не отбросила на десять шагов в сторону, так что старуха трижды перекувырнулась с задравшимися юбками.

Послышались голоса:

— Остановите его!

Обезумевший Гектор вцепился в гриву лошади и вопил:

— Помогите!

От страшного толчка он, как мяч, перелетел через голову лошади и упал прямо в объятия полицейского, бросившегося ему навстречу.

В один миг вокруг него образовалась кучка разъяренных людей, жестикулирующих и вопящих. Один

старый господин, с большим круглым орденом и длинными белыми усами, особенно казался вне себя. Он повторял:

— Черт побери, когда человек так неловок, он должен сидеть у себя дома. Нельзя же давить людей на улице, если не умеешь управлять лошадью!

Подошли четверо мужчин, несших старуху. Она казалась мертвой; лицо у нее было желтое, а сбившийся на сторону чепчик стал серым от пыли.

— Несите эту женщину в аптеку, — приказал старый господин, — а мы пойдем к полицейскому комиссару.

Гектор зашагал между двумя полицейскими. Третий вел его лошадь. Толпа следовала за ними, и вдруг появился брэк. Жена бросилась к мужу, няня потеряла голову, а малыши принялись пищать. Он объяснил, что скоро вернется, что сбил с ног какую-то женщину, что это пустяки. Перепуганная семья уехала.

Объяснение у комиссара было короткое. Гектор назвал свое имя и сказал, что он чиновник Морского министерства: затем стали ждать известий о пострадавшей. Полицейский, посланный справиться, вернулся. Она пришла в себя, но жаловалась на страшные боли, по ее словам, где-то внутри. Это была поденщица, шестидесяти пяти лет, и звали ее г-жою Симон.

Узнав, что она жива, Гектор ободрился и обещал уплатить издержки за ее лечение. Затем он побежал к аптекарю.

Шумная толпа обступила дверь. Старуха, бессильно свесив руки, с отупевшим лицом, стонала, развалилась в кресле. Два доктора продолжали осматривать ее. Пере-

лома нигде не нашли, но опасались какого-нибудь внутреннего повреждения.

Гектор обратился к ней:

— Вам очень больно?

— О да!

— Где же?

— В животе у меня словно огнем жжет.

Один из докторов подошел к Гектору.

— Это вы, сударь, виновник несчастья?

— Да.

— Нужно бы отправить эту женщину в лечебницу; я знаю такую, где ее поместят за шесть франков в день. Если хотите, я об этом позабочусь.

Гектор с восторгом согласился и вернулся домой успокоенный.

Жена ждала его в слезах. Он утешил ее:

— Ничего; этой Симон уже лучше, через три дня все пройдет; я отправил ее в лечебницу; ничего!

Ничего!

На следующий день, возвращаясь со службы, он зашел узнать о здоровье г-жи Симон. Он застал ее в ту минуту, когда она с довольным видом ела жирный бульон.

— Ну, что? — спросил он.

— Ох, сударь, ничуть не легчает! Я так думаю: дело мое кончено. Нисколечко не лучше.

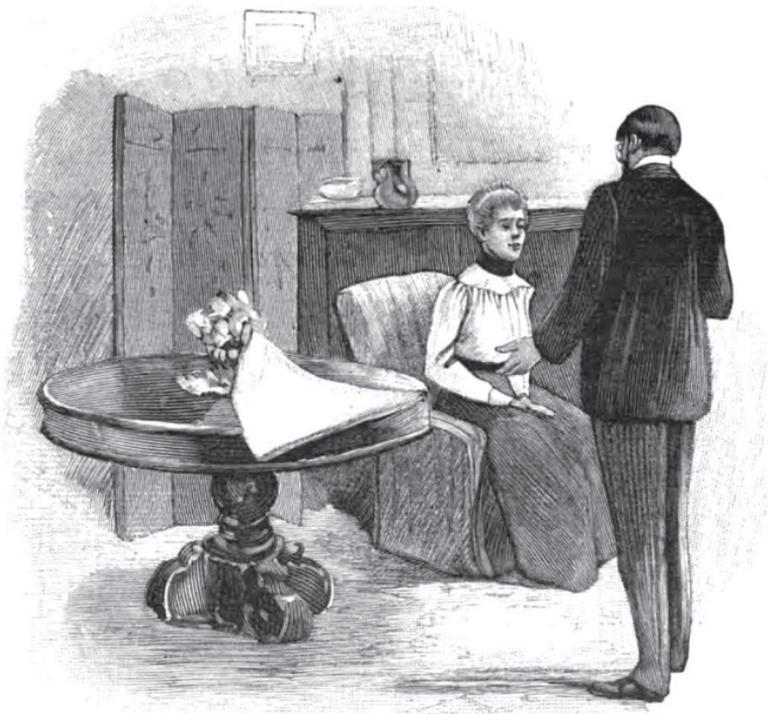
Доктор объявил, что нужно подождать: может случиться осложнение.

Гектор подождал два дня, затем опять зашел в больницу. У старухи был свежий цвет лица и ясные глаза, но, увидев его, она застонала:

— Совсем не могу двигаться, сударь, совсем не могу. Уж, видно, такой я и останусь до смерти.

Холод пробрал Гектора до мозга костей. Он спросил мнение доктора. Тот только развел руками.

— Что поделаешь, сударь, я уж и сам не знаю. Она орет, когда пытаются ее поднять. Нельзя даже передвинуть ее кресло, чтобы она не начала отчаянно кричать. Я должен верить тому, что она говорит, сударь; не могу же я влезть в нее. Пока не увижу ее на ногах, я не имею права подозревать с ее стороны обмана.



Старуха слушала, не шевелясь, лукаво поглядывая на них.

Прошла неделя, другая, затем месяц. Г-жа Симон не покидала своего кресла. Она ела с утра до ночи, жирела, весело болтала с другими больными и, казалось, привыкла к неподвижности, словно это был справедливо заслуженный ею отдых за пятьдесят лет беготни вниз и вверх по лестницам, выколачивания матрацев, таскания углей с одного этажа на другой, работы метлой и щеткой.

Гектор, в отчаянии, стал приходиться каждый день; он заставлял ее каждый день спокойной и счастливой, и она неизменно заявляла:

— Не могу двинуться, сударь, не могу.

Каждый вечер г-жа де Гривлен спрашивала, снедаемая волнением:

— Ну, как госпожа Симон?

И каждый раз он отвечал, убитый отчаянием:

— Никакой перемены, совершенно никакой!

Няню рассчитали, так как платить ей жалованье было уже слишком трудно. Стали еще более экономить, все наградные деньги были истрачены целиком.

Тогда Гектор созвал на консилиум четырех медицинских знаменитостей, и они собрались вокруг старухи. Она позволила им исследовать ее, трогать, щупать и лукаво поглядывала на них.

— Нужно заставить ее пройтись, — сказал один из врачей.

Она закричала:

— Никак не могу, хорошие мои господа, не могу!

Тогда они схватили ее, приподняли и протащили несколько шагов; но она вырвалась у них из рук и рухнула на пол, испуская такие ужасные крики, что ее отнесли обратно в кресло с бесконечными предосторожностями.

Врачи высказывались сдержанно, однако засвидетельствовали ее неспособность к труду.

Когда Гектор принес эту новость жене, она упала на стул, пролепетав:

— Уж лучше было бы взять ее сюда к нам, это обошлось бы дешевле.

Он так и привскочил:

— Сюда, к нам? О чем ты думаешь?

Но она, покорясь судьбе, ответила со слезами на глазах:

— Что же поделать, мой друг, ведь это не моя вина.

СОЧЕЛЬНИК

Уже не помню точно, в каком это было году. Целый месяц я охотился с увлечением, с дикою радостью, с тем пылом, который вносишь в новые страсти.

Я жил в Нормандии, у одного холостого родственника, Жюля де Банневиль, в его родовом замке, наедине с ним, с его служанкой, лакеем и сторожем. Ветхое, окруженное стонущими елями здание в центре длинных дубовых аллей, по которым носился ветер; замок казался давно покинутым. В коридоре, где ветер гулял,



как в аллеях парка, висели портреты всех тех людей, которые некогда церемонно принимали благородных соседей в этих комнатах, ныне запертых и заставленных одну старинной мебелью.

Что касается нас, то мы просто сбежали в кухню, где только и можно было жить, в огромную кухню, темные закоулки которой освещались, лишь когда в огромный камин подбрасывали новую охапку дров. Каждый вечер мы сладко дремали у камина, перед которым дымилась наши промокшие сапоги, а свернувшиеся кольцом у наших ног охотничьи собаки лаяли во сне, снова видя охоту; затем мы поднимались наверх в нашу комнату.

То была единственная комната, все стены и потолок которой были из-за мышей тщательно оштукатурены. Но, выбеленная известью, она оставалась голой, и по стенам ее висели лишь ружья, арапники и охотничьи рога; стуча зубами от холода, мы забирались в постели, стоявшие по обе стороны этого сибирского жилища.

На расстоянии одного лье от замка отвесный берег обрывался в море; от мощного дыхания океана днем и ночью стонали высокие согнутые деревья, как бы с плачем скрипели крыши и флюгера, и трещало все почтенное здание, наполняясь ветром сквозь поредевшие черепицы, сквозь широкие, как пропасть, каминные, сквозь не закрывавшиеся больше окна.

В тот день стоял ужасный мороз. Наступил вечер. Мы собирались усесться за стол перед высоким камином, где на ярком огне жарилась заячья спинка и две куропатки, издававшие вкусный запах.

Мой кузен поднял голову.

— Не жарко будет сегодня спать, — сказал он.

Я равнодушно ответил:

— Да, но зато завтра утром на прудах будут утки.

Служанка, накрывавшая на одном конце стола нам, а на другом — слугам, спросила:

— Знают ли господа, что сегодня сочельник?

Разумеется, мы не знали, потому что почти никогда не заглядывали в календарь. Товарищ мой сказал:

— Значит, сегодня будет ночная месса. Так вот почему весь день звонили!

Служанка отвечала:

— И да и нет, сударь; звонили также потому, что умер дядя Фурнель.

Дядя Фурнель, старый пастух, был местной знаменитостью. Ему исполнилось девяносто шесть лет от роду, и он никогда не хворал до того самого времени, когда месяц тому назад простудился, свалившись темной ночью в болото. На другой день он слег и с тех пор уже находился при смерти.

Кузен обратился ко мне:

— Если хочешь, пойдем сейчас навестим этих бедных людей.

Он разумел семью старика — его пятидесятивосьмилетнего внука и пятидесятисемилетнюю жену внука. Промежуточное поколение давно уже умерло. Они ютились в жалкой лачуге, при въезде в деревню, направо.

Не знаю почему, но мысль о рождестве в этой глуши расположила нас к болтовне. Мы наперебой рассказывали друг другу всякие истории о прежних сочельниках, о наших приключениях в эту безумную ночь, о былых успехах у женщин и о пробуждениях на следую-

щий день — пробуждениях вдвоем, сопровождавших-ся удивлением по сему поводу и рискованными неожиданными.

Таким образом, обед наш затянулся. Покончив с ним, мы выкурили множество трубок и, охваченные веселостью отшельников, веселой общительностью, внезапно возникающей между двумя закадычными друзьями, продолжали без умолку говорить, перебирая в беседе самые задушевные воспоминания, которыми делятся в часы такой близости.

Служанка, давно уже оставившая нас, появилась снова:

— Сударь, я ухожу на мессу.

— Уже?

— Четверть двенадцатого.

— Не пойти ли нам в церковь? — спросил Жюль. — Рождественская месса очень любопытна в деревне.

Я согласился, и мы отправились, закутавшись в меховые охотничьи куртки.

Сильный мороз колот лицо, и от него слезились глаза. Воздух был такой студеной, что перехватывало дыхание и пересыхало в горле. Глубокое, ясное и суровое небо было усеяно звездами, они словно побледнели от мороза и мерцали не как огоньки, а словно сверкающие льдинки, словно блестящие хрусталики. Вдали, по звонкой, сухой и гулкой, как медь, земле звенели крестьянские сабо, а кругом повсюду звякали маленькие деревенские колокола, посылая свои жидкие и словно тоже зябкие звуки в стынущий простор ночи.



В деревне не спали. Пели петухи, обманутые всеми этими звуками, а проходя мимо хлевов, можно было слышать, как шевелились животные, разбуженные этим гулом жизни.

Приближаясь к деревне, Жюль вспомнил о Фурнелях.

— Вот их лачуга, — сказал он, — войдем!

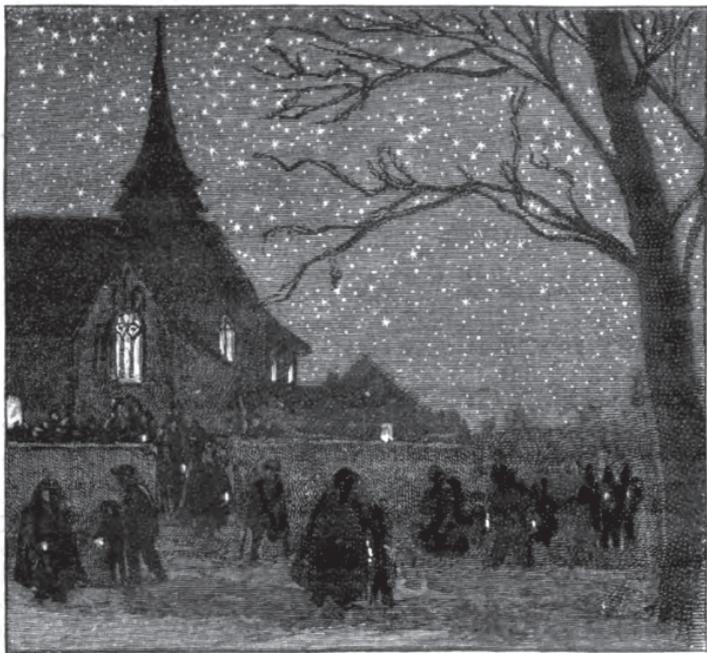
Он стучал долго, но напрасно. Наконец нас увидела соседка, вышедшая из дому, чтобы идти в церковь.

— Они пошли к заутрене, господа, помолиться за старика.

— Так мы увидим их при выходе из церкви, — сказал мне Жюль.

Заходящая луна серпом выделялась на краю горизонта среди бесконечной россыпи сверкающих зерен, с маху брошенных в пространство. А по черной равнине двигались дрожащие огоньки, направляясь отовсюду к без умолку звонившей остроконечной колокольне.

По фермам, обсаженным деревьями, по темным долинам — всюду мелькали эти огоньки, почти задевая землю. То были фонари из коровьего рога. С ними шли крестьяне впереди своих жен, одетых в белые чепцы и в широкие черные накидки, в сопровождении проснувшихся ребят, которые держали их за руки.



Сквозь открытую дверь церкви виднелся освещенный амвон. Гирлянда дешевых свечей освещала середину церкви, а в левом ее приделе пухлый восковой младенец Иисус, лежа на настоящей соломе, среди еловых ветвей, выставял напоказ свою розовую, жеманную наготу.

Служба началась. Крестьяне, склонив головы, и женщины, стоя на коленях, молились. Эти простые люди, поднявшись в холодную ночь, растроганно глядели на грубо раскрашенное изображение и складывали руки, с наивной робостью взирая на убогую роскошь этого детского представления.

Холодный воздух колебал пламя свечей. Жюль сказал мне:

— Выйдем отсюда! На дворе все-таки лучше.

Направившись домой по пустынной дороге, пока коленопреклоненные крестьяне набожно дрожали в церкви, мы снова предались своим воспоминаниям и говорили так долго, что служба уже окончилась, когда мы пришли обратно в деревню.

Тоненькая полоска света тянулась из-под двери Фурнелей.

— Они бодрствуют над покойником, — сказал мой кузен. — Зайдем же наконец к этим беднягам, это порадует их.

В очаге догорало несколько головешек. Темная комната, засаленные стены которой лоснились, а балки, источенные червями, почернели от времени, была полна удушливого запаха жареной кровяной колбасы. На большом столе, из-под которого, подобно огромному животу, выпячивался хлебный ларь, горела свеча в витем железном подсвечнике; едкий дым от нагоревшего грибом фитиля поднимался к потолку. Фурнели, муж и жена, разговлялись наедине.

Угрюмые, с удрученным видом и отупелыми крестьянскими лицами, они сосредоточенно ели, не про-

износя ни слова. На единственной тарелке, стоявшей между ними, лежал большой кусок кровяной колбасы, распространяя зловонный пар. Время от времени концом ножа они отрезали от нее кружок, клали его на хлеб и принимались медленно жевать.

Когда стакан мужа пустел, жена брала кувшин и наполняла его сидром.

При нашем появлении они встали, усадили нас, предложили "последовать их примеру", а после нашего отказа снова принялись за еду.

Помолчав несколько минут, мой кузен спросил:

— Так, значит, Антим, дед ваш, умер?

— Да, сударь, только что кончился.

Молчание возобновилось. Жена из вежливости сняла со свечи нагар. Тогда, чтобы сказать что-нибудь, я прибавил:

— Он был очень стар.

Его пятидесятисемилетняя внучка ответила:

— О, его время прошло, ему здесь больше нечего было делать!

Мне захотелось взглянуть на труп столетнего старика, и я попросил, чтобы мне его показали.

Крестьяне, до той минуты спокойные, неожиданно взволновались. Они вопросительно и обеспокоенно взглянули друг на друга и ничего не ответили.

Мой родственник, видя их смущение, настаивал.

Тогда муж спросил подозрительно и угрюмо:

— А на что вам это?

— Ни на что, — ответил Жюль. — Но ведь так всегда делается; почему вы не хотите показать его нам?

Крестьянин пожал плечами:

— Да я не отказываю, только в такое время это неудобно.

Множество догадок мелькнуло у каждого из нас. И так как внуки покойника по-прежнему не двигались и продолжали сидеть друг против друга, опустив глаза, с теми деревянными недовольными лицами, которые словно говорят: "Проваливайте-ка вы отсюда", — Жюль сказал решительно:

— Ну, ну, Антим, вставайте и проводите нас в комнату старика.

Но крестьянин, хотя и покоряясь, хмуро ответил:

— Не стоит беспокоиться, его там уже нет, сударь.

— Где же он в таком случае?

Жена перебила мужа:

— Я вам скажу. Мы положили его до завтра в хлебный ларь; больше нам некуда было его деть.

Сняв тарелку с колбасой, она подняла крышку со стола, нагнулась со свечей, чтобы осветить внутренность огромного ящика, и в глубине его мы увидели что-то серое, какой-то длинный сверток, из одного конца которого высывалось худое лицо с вкlopenными седыми волосами, а из другого — две босые ноги.

То был старик, весь высохший, с закрытыми глазами, закутанный в свой пастушеский плащ и спавший последним сном среди старых черных корок хлеба, таких же столетних, как и он сам.

Его внуки разговялялись над ним!

Жюль, возмущенный, дрожа от гнева, закричал:

— Да почему же вы не оставили его на его кровати, мужичье вы эдакое?

Тогда женщина расплакалась и быстро заговорила:

— Я все вам скажу, сударь; у нас только одна кровать в доме. Раньше мы спали на ней вместе, с ним: ведь нас было всего трое. Когда он заболел, мы стали спать на земле, а в такие холода, как сейчас, это тяжело. Ну, а когда он помер, мы так и сказали себе: раз он теперь больше не страдает, зачем оставлять его в постели? Мы отлично можем убрать его до завтра в ларь, а сами ляжем на кровать, потому что ночь будет холодная! Не можем же мы спать с покойником, господа!..

Мой кузен, вне себя от негодования, быстро вышел, хлопнув дверью, а я последовал за ним, смеясь до упаду.



СЛОВА ЛЮБВИ

Дорогой мой
толстый петушок!
Ты мне не пишешь, я
тебя совсем не вижу, и ты ни-
как не соберешься прийти. Раз-
ве ты разлюбил меня? За что же?

Чем я провинилась? Скажи мне, умоляю тебя, моя любовь! А я тебя так люблю, так люблю, так люблю! Мне хотелось бы, чтобы ты вечно был со мною и чтобы я целый день могла тебя целовать и называть тебя, сердце мое, любимый мой котик, всеми нежными именами, какие только придут в голову. Я обожаю, обожаю, обожаю тебя, мой чудный петушок!

Твоя курочка Софи.

Понедельник.

Дорогая, ты, вероятно ровно ничего не поймешь из того, что я намерен сказать тебе. Все равно. Если письмо мое случайно попадет на глаза какой-нибудь другой женщине, оно послужит ей, быть может, на пользу.

Если бы ты была глуха и нема, я, без сомнения, любил бы тебя долго-долго. Несчастье в том, что ты говоришь — вот и все. Один поэт сказал:

Ты в лучшие часы, снося смычок мой ярый,
Была лишь скрипкою, банальной и простой,
И, точно ария в пустой груди гитары.
Моя жила мечта в твоей душе пустой.

В любви, видишь ли, всегда поют мечты; но для того, чтобы мечты пели, их нельзя прерывать. А когда между двумя поцелуями говорят, то всегда прерывают пьянящую мечту, создаваемую душою, — если только не проносят слова возвышенные; но возвышенные слова не рождаются в маленьких головках хорошеньких девушек.

Ты ничего не понимаешь, не правда ли? Тем лучше. Я продолжаю. Ты, несомненно, одна из самых прелест-

ных, одна из самых очаровательных женщин, которых я только когда-либо встречал.

Есть ли на свете глаза, в которых было бы столько грезы, как в твоих, столько неведомых обещаний, столько бесконечной любви? Не думаю. Когда твой рот улыбается и пухлые губки открывают блестящие зубы, то кажется, что из этого очаровательного рта вот-вот польется невыразимая музыка, нечто неправдоподобно сладостное, нежное до рыданий.

А в эту минуту ты спокойно называешь меня: "Мой обожаемый жирный кролик". И мне кажется вдруг, что я проникаю в твою головку, вижу как движется твоя маленькая душа маленькой хорошенькой женщины, прехорошенькой женщины, но... и это, понимаешь ли, меня страшно угнетает... Я предпочел бы лучше этого не видеть.

Ты по-прежнему ничего не понимаешь, не так ли? Я на это и рассчитывал.

Помнишь ли, как ты пришла ко мне в первый раз? Ты вошла внезапно, внося с собою аромат фиалок, веявший от твоих юбок; мы молча долгим взглядом смотрели друг на друга, потом обнялись, как безумные... а потом... потом до следующего утра уже не говорили.

Но когда мы расставались, наши руки дрожали, а глаза говорили то, то... чего нельзя выразить ни на одном языке.

По крайней мере я так полагал. И, покидая меня, ты чуть слышно прошептала: "До скорого свидания!" Вот все, что ты сказала, но ты никогда не сможешь себе представить ни того, какую дымку мечты ты оставила

во мне, ни того, что я предвидел и что, мне казалось, угадывал в твоей мысли.

Понимаешь ли, бедное дитя мое, для мужчин неглупых, сколько-нибудь утонченных, сколько-нибудь выдающихся, любовь — инструмент столь сложный, что малейший пустяк его расстраивает. Вы, женщины, когда любите, не замечаете смешной стороны некоторых вещей, а чудовищность или смехотворность иных выражений ускользает от вас.

Почему слово, уместное в устах маленькой брюнетки, звучит совершенно фальшиво и смешно в устах полной блондинки? Почему шаловливый жест одной не подходит другой? Почему некоторые ласки прелестны, когда они исходят от одной женщины, и только стеснительны для нас со стороны другой? Почему? Потому что во всем, но главным образом в любви, нужна полная гармония, совершенное соответствие жестов, голоса, слов, изъявлений нежности — с внешностью той женщины, которая движется, говорит, выражает что-либо, с ее возрастом, станом, цветом ее волос, характером ее красоты.

Тридцатипятилетняя женщина, сохранившая в этом возрасте сильных и бурных страстей хоть сколько-нибудь той ласковой шаловливости, которую отмечена была любовь ее юности, и не понимающая, что она должна выражаться иначе, смотреть иначе, целовать иначе, что она должна быть Дидоной, а не Джульеттой, неминуемо отвратит от себя девять любовников из десяти, если бы даже они и не подозревали причины своего ухода.

Понимаешь ли ты? Нет? Я так и думал.

С того самого дня, как ты, словно из крана, начала выливать на меня поток твоих нежностей, для меня было все кончено, мой друг.

Случалось, поцелуй наш длился пять минут — бесконечный, страстный поцелуй, один из тех поцелуев, когда закрываешь глаза, словно боясь, чтобы он не ускользнул, спугнутый взглядом, когда хочешь сохранить его целиком в отуманившейся душе, которую он опустошает. Затем, когда наши губы отрывались друг от друга, ты говорила, звонко смеясь: "До чего вкусно, жирный мой песик!" В такую минуту я готов был тебя побить!

Ведь ты наделяла меня последовательно всеми именами животных и овощей, которые знала благодаря Домашней хозяйке, Образцовому Садовнику и Основам естественной истории для младших классов. Но все это еще ничего.

Любовные ласки, если в них вдуматься, грубы, животны и даже хуже того. Мюссе сказал:

Еще я помню их — мгновенья спазмы страстной —
Пыланье мускулов, безмолвье диких ласк.
Самозабвение, зубов свирепый ляск...
Коль не божественны те миги, то ужасны —

или смешны!.. О бедное дитя, какой гений насмешки, какой извращенный дух мог подсказать тебе твои слова... в последнее мгновение?

Они все в моей памяти; но из любви к тебе я не повторяю их.



А кроме того, тебе, право, недоставало такта, и ты ухитрилась вставить восторженное "люблю тебя" при некоторых столь неподходящих обстоятельствах, что

я должен был сдерживать безумное желание расхохотаться. Бывают минуты, когда слова "люблю тебя" настолько неуместны, что становятся почти неприличными, запомни это хорошенько.

Но ведь ты меня не понимаешь.

Многие женщины тоже не поймут меня и назовут дураком. Впрочем, это не важно. Голодные едят с жадностью, но люди с утонченным вкусом требовательны, и часто пустяк способен вызвать у них непреодолимое отвращение. В любви то же, что и в гастрономии.

Не могу понять одного: как это некоторые женщины, знающие весь непреодолимый соблазн прозрачных и узорчатых шелковых чулок, все пленительное обаяние полутонов, все волшебство драгоценных кружев, скрытых в глубине интимных одежд, всю волнующую прелесть тайной роскоши изысканного белья и всех утонченных выдумок женского изящества, — как они не понимают того непреодолимого отвращения, которое внушают нам неуместные или глупые нежности?

Грубое слово иногда делает чудеса, подстегивает тело, заставляет сердце встрепенуться. Эти слова в часы битвы допустимы. Разве слово Камброна не возвышенно? Все что вовремя, — не коробит. Но надо уметь также помолчать и в известные минуты избегать выражений в духе Поль де Кока.

И я целую тебя со всею страстью, но при условии, что ты не скажешь ни слова.

Ренэ.

ПАРИЖСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Найдется ли на свете чувство более острое, чем женское любопытство? О, узнать, увидеть, потрогать то, о чем мечталось! Чего только не сделает женщина ради этого! Когда ее нетерпеливое любопытство задето, она пойдет на какое угодно безумие, на какую угодно неосторожность, проявит какую угодно смелость, не отступит ни перед чем. Я говорю о настоящих женщинах, о женщинах, ум которых представляет собою ящик с тройным дном; с виду это ум рассудительный и холодный, но три его потайных отделения наполнены: первое — вечно возбужденным женским беспокойством, второе — притворством под маской прямодушия, притворством, свойственным ханжам, полным софистики и весьма опасным; и, наконец, последнее — очаровательной наглостью, прелестным плутовством, восхитительным вероломством — всеми теми извращенными свойствами, которые толкают на самоубийство глупо доверчивых влюбленных и восхищают остальных мужчин.

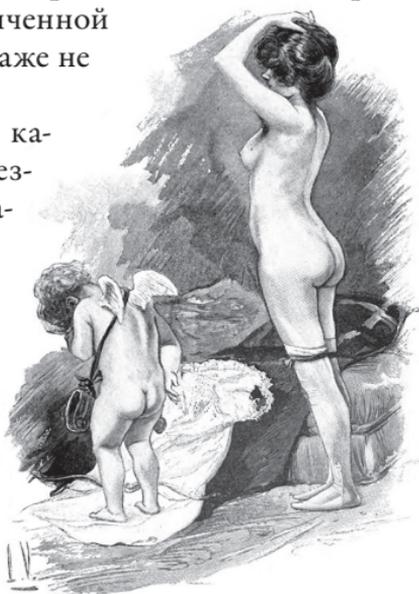
Женщина, приключение которой я хочу рассказать, была до того времени скучно добродетельной провинциалочкой. Ее внешне спокойная жизнь проходила в семье, делясь между занятым мужем и двумя детьми, которым она была примерною матерью. Но сердце ее трепетало неудовлетворенным любопытством, жаждою неизвестного. Она беспрестанно грезила о Париже и с жадностью читала великосветские журналы. От описаний празднеств, туалетов, развлечений ее жела-

ния разгорались все больше и больше, но особенно таинственно волновали ее "отголоски", полные намеков, полуприкрытых искусными фразами, за которыми угадывались широкие просторы преступных и губительных наслаждений.

Издали Париж представлялся ей в каком-то апофеозе великолепной и порочной роскоши. И в долгие ночи, отдаваясь мечтам под мерное храпение мужа, который, повязав фуляром голову, спал на спине рядом с нею, она грезила о знаменитостях, чьи имена, как яркие звезды на темном небе, появлялись на первых страницах газет; она рисовала себе их безумную жизнь, полную постоянного разврата, сладострастных античных оргий и такой сложной и утонченной чувственности, что она даже не могла себе представить.

Парижские бульвары казались ей какими-то безднами человеческих страстей, а дома вдоль этих бульваров, несомненно, скрывали необычайные любовные тайны.

Между тем она чувствовала, что стареет. Она старела, ничего не узнав о жизни, кроме тех правильных,



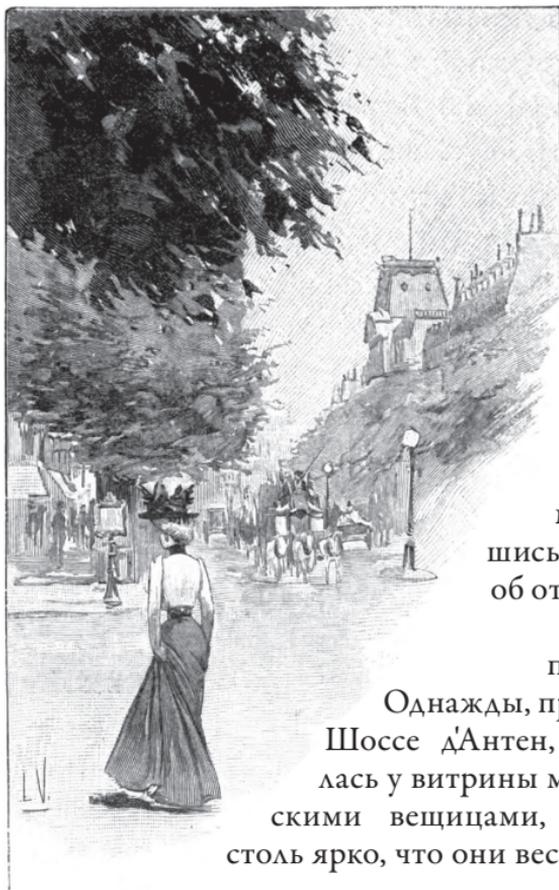
до отвращения однообразных и пошлых занятий, которые создают, как принято говорить, семейное счастье. Она была еще красива, потому что сохранилась в этой покойной обстановке, как зимний плод в запертом шкафу; но ее точили, снедали и будоражили тайные страсти. Она спрашивала себя: неужели ей так и придется умереть, не изведав всех этих проклятых упоений, не бросившись с головой хоть раз — один только раз! — в этот водоворот парижского сладострастия?

С большою настойчивостью подготовила она поездку в Париж, нашла предлог, добилась приглашения от парижских родственников и, так как муж не мог сопутствовать ей, уехала одна.

Тотчас по приезде она придумала такие поводы, которые позволяли бы ей в случае надобности отлучиться из дому дня на два, или, вернее, на две ночи, если б это понадобилось: она встретила, по ее словам, друзей, живших в окрестностях Парижа.

И она принялась за поиски. Она обегала бульвары, но не увидела ничего, кроме бродячего и зарегистрированного полицией порока. Она испытующе заглядывала в большие кафе, внимательно прочитывала переписку в "Фигаро", отдававшуюся в ее душе каждое утро, как звон набата, призывом к любви.

Но ничто не наводило ее на след грандиозных оргий в мире художников и актрис; ничто не раскрывало перед нею храмов распутства, которые рисовались ей запечатленными магическим словом, как пещера "Тысячи и одной ночи" или как римские катакомбы, где скрытно



свершались когда-то таинства преследуемой религии. Ее родственники, мелкие буржуа, не могли познать ее ни с кем из тех знаменитостей, чьи имена жужжали в ее мозгу, и, отчаявшись, она думала уже об отъезде, как вдруг на помощь ей подоспел случай.

Однажды, проходя по улице Шоссе д'Антен, она остановилась у витрины магазина с японскими вещами, расписанными столь ярко, что они веселили глаз. Она рассматривала комические фигурки из слоновой кости, высокие вазы с пламенеющей эмалью, причудливую бронзу, как вдруг внутри магазина увидела хозяина, почтительнейше показывавшего какому-то толстому, маленькому, лысому человеку с небритым подбородком большого пузатого фарфорового урда — уникальную вещицу, по его словам.

И в конце каждой фразы торговца звенело, как призыв рога, имя любителя, знаменитое имя. Остальные покупатели, молодые женщины, изящные господа, взглядывали искоса и быстро, но вполне благопристойно и с видимым почтением на прославленного писателя, увлеченно рассматривавшего фарфорового уroda. Они были безобразны оба, безобразны, как два родных брата.



Торговец говорил:

— Только вам, господин Жан Варен, я уступаю эту вещь за тысячу франков; ровно столько я сам за нее дал. Для всех прочих цена будет тысяча пятьсот; но я особенно дорожу покупателями из мира художников и писателей, и для них у меня особые цены. Они все у меня покупают, господин Варен. Вчера господин Бюснах купил большой старинный кубок. На днях я продал пару подсвечников в этом роде — не правда ли, как они хороши? — господину Александру Дюма. Знаете, если бы эту вещь, которую вы держите в руках, увидел господин Золя, то она была бы уже продана, господин Варен!

Писатель колебался в нерешительности: вещь его соблазняла, но он думал о цене; на взгляды окружающих он не обращал никакого внимания, словно был один в пустыне.

Она вошла в магазин, трепеща, глядя на писателя с неприличной пристальностью и даже не спрашивая

себя, красив ли он, молод ли, изящен ли. То был Жан Варен, сам Жан Варен!

После долгой борьбы и скорбной нерешительности он поставил фигуру обратно на стол.

— Нет, это чересчур дорого, — сказал он.

Торговец удвоил свое красноречие:

— Вы говорите дорого, господин Жан Варен? Да за это не жалко две тысячи выложить, как одно су.

Писатель, не отрывая взгляда от уroda с эмалевыми глазами, печально возразил:

— Я не говорю, что вещь не стоит этих денег; но для меня это дорого.

Тут, схваченная вдруг безумною смелостью, она выступила вперед:

— А сколько вы возьмете с меня за этого человечка?

Торговец с удивлением ответил:

— Тысячу пятьсот франков, сударыня.

— Я беру его.

Писатель, до этого даже не заметивший ее, вдруг обернулся. Прищуриль глаза, он окинул ее с головы до ног взглядом наблюдателя, а потом в качестве знатока оценил ее во всех подробностях.

Возбужденная, загоревшаяся внезапно вспыхнувшим пламенем, до тех пор дремавшим в ней, она была очаровательна. Да к тому же женщина, покупающая мимоходом вещицу за полторы тысячи франков, не первая встречающая.

Вдруг она ощутила порыв восхитительной совестливости и, обернувшись к нему, сказала дрожащим голосом:

— Простите, сударь, я, должно быть, чересчур поспешила; вы, быть может, еще не сказали последнего слова.

Он поклонился:

— Я сказал его, сударыня.

Но она взволнованно отвечала:

— Словом, сударь, если сегодня или позже вам захочется изменить решение, то эта вещица принадлежит вам. Я только потому ее и купила, что она вам понравилась.

Он улыбнулся, явно польщенный.

— Откуда же вы меня знаете? — спросил он.

Тогда она заговорила о своем преклонении перед ним, назвала его произведения, стала даже красноречивой.

Чтобы удобнее было разговаривать, он облокотился на какой-то шкаф и, пронизывая ее острым взглядом, старался понять, что она собой представляет.

Время от времени владелец магазина, обрадованный этой живой рекламой, кричал с другого конца лавки, когда входили новые покупатели:

— А вот взгляните, господин Жан Варен, разве это не прелестно?

И тогда все головы поднимались, и она дрожала от удовольствия, что ее видят в непринужденной беседе со знаменитостью.

Наконец, совсем опьянев, она решилась на крайнюю дерзость, подобно генералу, приказывающему идти на приступ.

— Сударь, — сказала она, — сделайте мне большое, очень большое удовольствие. Разрешите мне поднести

вам этого уroda на память о женщине, страстно вам поклоняющейся и которая виделась с вами всего десять минут.

Он отказался. Она настаивала. Он противился, забавляясь и смеясь от всего сердца.

Тогда она сказала упрямо:

— Ну в таком случае я тотчас же отвезу его к вам. Где вы живете?

Он отказался сообщить свой адрес, но она узнала его от торговца и, заплатив за покупку, бросилась к фиакру. Писатель побежал за нею вдогонку, не желая, чтобы у присутствующих создалось впечатление, что он принимает подарок от незнакомого лица. Он настиг ее, когда она садилась в экипаж, бросился за ней и почти упал на нее — так его подбросило тронувшимся фиакром; затем уселся рядом с нею, весьма раздосадованный.

Сколько он ни упрашивал, ни настаивал, она оставалась непреклонной. Когда они были у его подъезда, она изложила ему свои условия.

— Я согласна, — сказала она, — не оставлять у вас этой вещи, если вы сегодня будете исполнять все мои желания.

Это показалось ему настолько забавным, что он согласился.

Она спросила:

— Что вы делаете обычно в этот час?

Поколебавшись, он сказал:

— Прогуливаюсь.

Тогда решительным тоном она приказала:

— В Лес!

И они поехали.

Она потребовала, чтобы он называл ей по именам всех известных, в особенности же — доступных женщин, со всеми интимными деталями их жизни, привычек, обстановки и пороков.

Вечерело.

— Что вы обычно делаете в это время? — спросила она.

Он ответил смеясь:

— Пью абсент.

И она с полной серьезностью сказала:

— В таком случае поедemте пить абсент.

Они вошли в одно из известных кафе на больших бульварах, где он часто бывал и где встретил нескольких собратьев по перу. Он всех их представил ей. Она была без ума от радости. И в ее голове беспрестанно раздавалось: "Наконец-то, наконец!"

Время бежало; она спросила:

— В этом часу вы, вероятно, обедаете?

Он отвечал:

— Да, сударыня.

— В таком случае поедemте обедать, сударь.

Выходя из ресторана Биньон, она сказала:

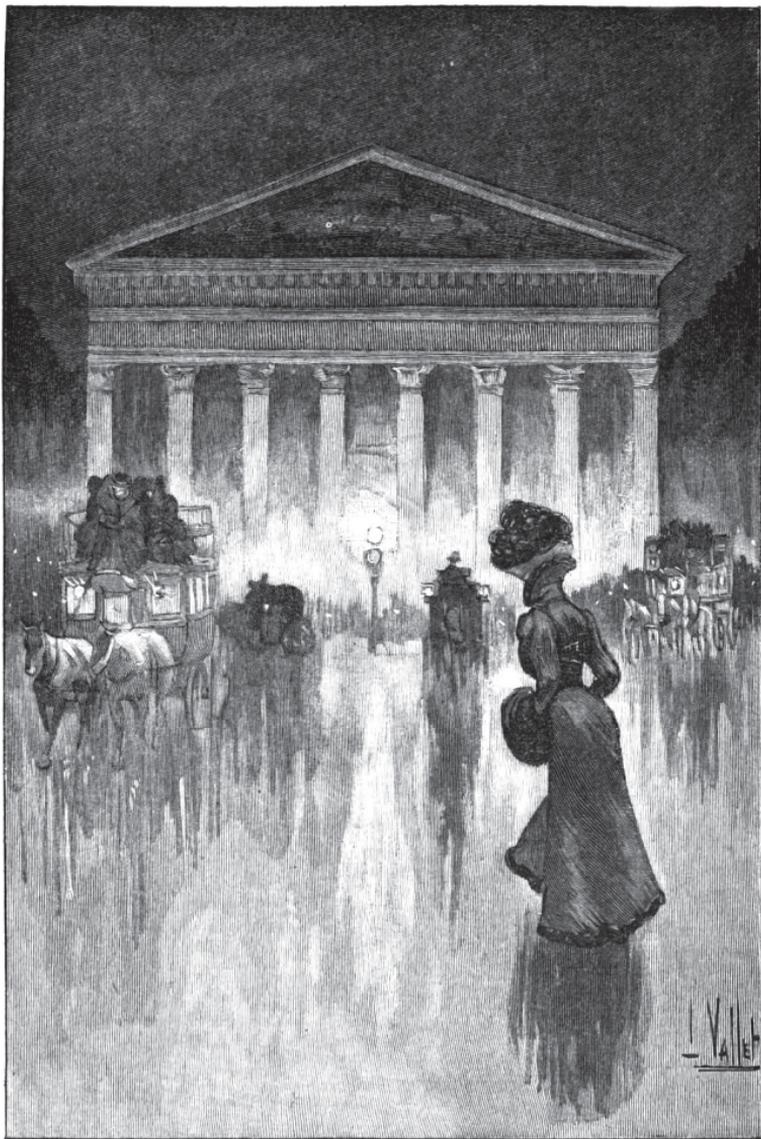
— Что вы делаете по вечерам?

Он пристально взглянул на нее.

— Смотря по обстоятельствам; иногда я отправляюсь в театр.

— Отлично, сударь, поедemте в театр.

Они пошли в "Водевиль", где благодаря ему им предложили бесплатные места, и — о верх славы! — весь зал видел ее рядом с ним, в креслах балкона.



Когда представление кончилось, он галантно поцеловал ей руку:

— Мне остается поблагодарить вас, сударыня, за восхитительный день...

Она прервала его:

— А что вы обычно делаете ночью?

— Но... но... я возвращаюсь домой.

Она нервно засмеялась.

— Ну, что ж, сударь, поедemте к вам домой.

И больше они не разговаривали. Порою она дрожала с головы до ног, желая и бежать и остаться, но все же твердо решив в глубине души идти до конца.

На лестнице она цеплялась за перила, так сильно возматало ее волнение, а он шел вперед, отдуваясь, с восковой спичкой в руке.

Очутившись в комнате, она быстро разделась, скользнула в постель, не говоря ни слова, и ждала, прижавшись к стене,

Но она была неопытна, как только возможно для законной жены провинциального нотариуса, а он был требовательнее трехбунчужного паши. Они не поняли друг друга, совершенно не поняли.

И он уснул. Ночь проходила, и тишину ее нарушало лишь тикание стенных часов; неподвижно лежа, она думала о своих супружеских ночах и с отчаянием смотрела на этого, спавшего рядом с нею на спине, под желтым светом китайского фонарика, маленького, шарообразного человечка, чей круглый живот выпячивался из-под простыни, словно надутый газом баллон. Он храпел, как органная труба, с протяжным фырканьем





и смешным клокотанием в горле. Два десятка волос, утомленные за день своим приглаженным положением на голом черепе, который они должны были прикрывать, воспользовались теперь его сном и топорщились во все стороны. Струйка слюны стекала из угла его полуоткрытого рта.

Наконец сквозь опущенные занавески чуть проглянул рассвет. Она встала, бесшумно оделась и уже приоткрыла было дверь, но скрипнула задвижкой, и он проснулся, протирая глаза.

Несколько секунд он не мог прийти в себя; затем, припомнив все случившееся, спросил:

— Как, вы уходите?

Она стояла, смущенная, и прошептала:

— Да, уже утро.

Он сел на постели.

— Послушайте, — сказал он, — я тоже хочу вас кое о чем спросить.

Она молчала, и он продолжал:

— Вы крайне удивили меня вчера. Будьте откровенны, признайтесь, зачем вы все это проделали? Я ничего не понимаю.

Она тихонько подошла к нему, краснея, как молоденькая девушка.

— Я хотела узнать... порок... ну, и... ну, и это совсем не забавно!

Она выбежала из комнаты, спустилась с лестницы и бросилась на улицу.

Целая армия метельщиков подметала тротуары и мостовые, сбрасывая с них весь сор в сточные канавы. Одинаковым размеренным движением, напоминавшим движение косцов в поле, они гнали сор и грязь полукругом перед собою. Проходя улицу за улицей, она видела вновь и вновь, как они движутся тем же автоматическим движением, словно паяцы, заведенные одною пружиной.

Ей показалось, что и в ее душе сейчас вымели нечто, сбросили в сточную канаву, в канализационную трубу все ее экзальтированные мечты.





Она вернулась домой, запыхавшись, иззябнув и не ощущая в сознании ничего, кроме этого движения щеток, подметающих Париж по утрам.

И как только она очутилась в комнате, она зарыдала.

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Париж был осажден, голодал, задыхался. Воробьев на крышах становилось все меньше, сточные канавы пустели. Ели что попало.

Г-н Мориссо, часовщик по профессии и солдат в силу обстоятельств, уныло и с пустым желудком прогуливался в ясное январское утро вдоль внешнего бульвара, заложив руки в карманы форменных штанов; внезапно он остановился перед другим солдатом, узнав в нем своего старого приятеля. То был г-н Соваж, его знакомец по рыбной ловле.

До войны каждое воскресенье, на рассвете, Мориссо отправлялся по железной дороге в Аржантей с бамбуковой удочкой в руке и жестяною коробкою за спиной. Он доезжал до Коломба, оттуда пешком добирался до острова Марант и, достигнув этого места своих мечтаний, закидывал удочку и рыбачил до самой ночи.

Каждое воскресенье встречал он там другого рыболова-фанатика, г-на Соважа, веселого и дородного человечка, торговца галантереей с улицы Нотр-Дам-де-Лорет. Часто проводили они по полдня, сидя рядышком с удочкой в руке, свесив над водой ноги, и скоро между ними возникла тесная дружба.

Бывали дни, когда они совсем не разговаривали. Иногда же беседовали, но чудесно понимали друг друга и без слов, так как у них были общие вкусы и одинаковые переживания.

Весною, по утрам, часов в десять, когда помолодевшее солнце поднимало над спокойной рекою легкий пар,

уносящийся вместе с водою, и славно припекало спины
рых рыболовов, Мориссо порою говаривал соседу:

— А? Какова теплынь!

На что г-н Соваж отвечал:

— Не знаю ничего приятнее.

И этого им было достаточно, чтобы понимать и ува-
жать друг друга.

Осенью к концу дня, когда небо, окровавленное за-
ходящим солнцем, отражало в воде очертания пур-
пуровых облаков, заливало багрянцем всю реку, вос-
пламеняло горизонт, освещало красным светом обоих
друзей и позлащало уже пожелтевшие деревья, трепе-
тавшие ознобом зимы, г-н Соваж, глядя с улыбкой на
г-на Мориссо, говорил:

— Каково зрелище?

И Мориссо, восхищенный, отвечал, не отрывая глаз
от поплавка:

— Это будет получше бульваров, не правда ли?

Узнав теперь друг друга, они обменялись крепким
рукопожатием, взволнованные встречей при столь из-
менившихся обстоятельствах. Г-н Соваж, вздохнув,
тихо сказал:

— Ну и дела!

Мориссо угрюмо простонал:

— Погода-то какова! Сегодня первый ясный день с
начала года.

Небо действительно было совсем синее и залито све-
том.

Они пошли рядом задумчиво и печально. Мориссо
снова заговорил:

— А рыбная ловля? А? Вот приятные воспоминания!

Г-н Соваж спросил:

— Когда только мы опять вернемся туда?

Они вошли в маленькое кафе, выпили абсенту и снова стали бродить по тротуарам. Вдруг Мориссо остановился:

— Не пропустить ли еще стаканчик?

Г-н Соваж не возражал:

— К вашим услугам.

Они зашли в другой кабачок.

Когда они вышли оттуда, головы их были сильно отуманены, как бывает с людьми, основательно выпившими на пустой желудок. Было тепло. Ласковый ветерок порхал по их лицам.

Г-н Соваж, которого совсем развезло от теплого воздуха, остановился:

— А не отправиться ли нам туда?

— Куда?

— Ловить рыбу.

— Но куда же?

— Да на наш остров. Французские аванпосты стоят у Коломба. Я знаю полковника Дюмулена; нас пропустят легко.

Мориссо задрожал от желания.

— Хорошо. Я согласен.

И они расстались, чтобы захватить свои рыболовные снасти.

Час спустя они шагали рядом по большой дороге. Добрались до дачи, занимаемой полковником. Он

улыбнулся, выслушав их просьбу, дал согласие на их каприз, и они отравились дальше, снабженные паролем.

Вскоре они оставили за собою аванпосты, прошли через покинутый жителями Коломб и очутились на краю маленького, спускавшегося к Сене виноградника. Было около одиннадцати часов утра.

Деревня Аржантей, напротив них, казалась вымершей. Высоты Оржемон и Саннуа господствовали над всей окрестностью. Широкая долина, идущая к Нантерру, с ее оголенными вишневыми деревьями и серою землей, была пуста, совершенно пуста.

Г-н Соваж, указывая пальцем на горы, прошептал:

— Пруссаки там наверху!

И беспокойство охватило обоих друзей при виде этой опустевшей местности.

"Пруссаки!" Они ни разу еще не видели, но уже несколько месяцев ощущали их вокруг Парижа — невидимых и всемогущих, разорывших Францию, грабивших, убивавших, моривших голодом людей. И ненависть, которую они питали к неизвестному и побеждавшему народу, соединялась у них со своего рода суеверным ужасом.

Мориссо пролепетал:

— А что, если мы их встретим?

Г-н Соваж отвечал с тем зубоскальством, которое, несмотря ни на что, всегда свойственно парижанину:

— Мы угостим их жареною рыбой!

Тем не менее они медлили идти дальше в поля, как бы пугаясь этого безмолвия окрестности.

Наконец г-н Соваж решил:

— Ну, идем! Но только осторожно!

Они спустились по винограднику ползком, согнувшись в три погибели, пользуясь для прикрытия каждым кустом, беспокойно оглядываясь и настороженно прислушиваясь.

Оставалось пройти лишь полосу пустой земли, чтобы достигнуть речного берега. Они пустились по ней бегом и, достигнув обрыва, притаились в сухих тростниках.

Мориссо приложил ухо к земле, прислушиваясь, не раздастся ли поблизости шагов. Ничего не было слышно. Они были одни, совсем одни.

И успокоившись, они принялись удить рыбу.

Обезлюдивший остров Марант, находившийся против них, скрывал их от другого берега. Маленькое здание ресторана было заколочено и казалось заброшенным много лет тому назад.

Г-н Соваж выудил первого пескаря, Мориссо поймал второго, и они стали то и дело вытаскивать удочки, где на конце лесьи трепетала серебристая рыбка; то была поистине чудесная ловля.

Они осторожно клали рыбу в веревочную сетку с мелкими петлями, мокнувшую в воде у их ног. Восторженная радость переполняла их, радость, охватывающая человека, когда он возвращается к любимому удовольствию, которого был долго лишен.

Ласковое солнце пригревало им спины; они ничего не слышали, ни о чем не думали, забыли весь мир; они удили.

Но внезапно глухой звук, словно подземный удар, потряс землю. Пушки начинали грохотать снова.

Мориссо повернул голову и над берегом, налево, увидел высокий силуэт Мон-Валерьяна, вершина которого была украшена белым султаном — только что выпущенным пороховым облачком.

И тотчас над вершиною крепости взлетело второе облачко, а несколько секунд спустя прогремел новый выстрел.

Потом последовали другие. Гора ежеминутно изрыгала смертоносное дыхание, выбрасывая клубы молочного пара, и они медленно подымались в спокойном небе, образуя над нею облако.

Г-н Соваж пожал плечами.

— Снова принимаются, — сказал он.

Мориссо, беспокожно следивший за ежеминутным нырянием своего поплавок, почувствовал вдруг, что его охватывает гнев миролюбивого человека против тех безумцев, которые никак не могли прекратить драку. И он проворчал:

— Какими надо быть идиотами, чтобы так убивать друг друга.

Г-н Соваж добавил:

— Это хуже, чем у зверей!

Мориссо поймал уклею и заявил:

— И подумать только, что так будет всегда, пока будут существовать правительства!

Г-н Соваж остановил его:

— Республика не объявила бы войны...

Но Мориссо продолжал:

— При королях война идет с внешним врагом, а при республике — внутри страны.

И они спокойно принялись спорить, разрешая важные политические вопросы с точки зрения здравого смысла мирных и ограниченных людей, сходясь на том, что люди никогда не будут свободны. А Мон-Валерьян грохотал без умолку, разрушая своими ядрами французские дома, обрывая жизни, уничтожая людей, кладя конец стольким мечтам, разрушая столько фантазий, столько лелеемых радостей, столько надежд на счастье, причиняя сердцам женщин, сердцам девушек, сердцам матерей, здесь и в других странах, страдания, которым никогда не будет конца.

— Это жизнь, — заявил г-н Соваж.

— Скажите лучше: это смерть, — возразил, улыбаясь, Мориссо.

Но они вздрогнули в испуге, отчетливо услышав за собою шаги. Обернувшись, они увидели над своими головами четырех мужчин, четырех вооруженных и бородатых мужчин, одетых как бы в ливреи, подобно лакеям, и с плоскими фуражками на головах; эти люди целились в них из ружей.

Удочки выскользнули из рук рыболовов и поплыли вниз по течению.

В несколько секунд их схватили, связали, понесли, бросили в лодку и перевезли на остров.

Позади дома, который им казался покинутым, они увидели десятка два немецких солдат.

Волосатый великан, куривший большую фарфоровую трубку, сидя верхом на стуле, спросил у них на чистейшем французском языке:

— Ну, как, господа, хорош ли улов?

Один из солдат положил к ногам офицера сетку, полную рыбы, которую он позаботился прихватить. Прус- сак улыбнулся:

— Эге, я вижу, что ловилось не- плохо. Но дело не в этом. Выслу- шайте меня и не волнуйтесь.

— На мой взгляд, вы — два шпиона, подосланные чтобы вы- следовать меня. Я вас захватил и расстреляю. Вы делали вид, что заняты рыбной ловлей, чтобы замаскировать свои планы. Од- нако вы попались мне в руки: тем хуже для вас; такова война.

— Но вы шли через аванпо- сты, и у вас, конечно, имеется пароль, чтобы пройти обратно. Сообщите мне пароль, и я вас пощажу...

Оба друга, мертвенно-бледные, стоя рядом, молчали; их руки нервно подергивались.

Офицер продолжал:

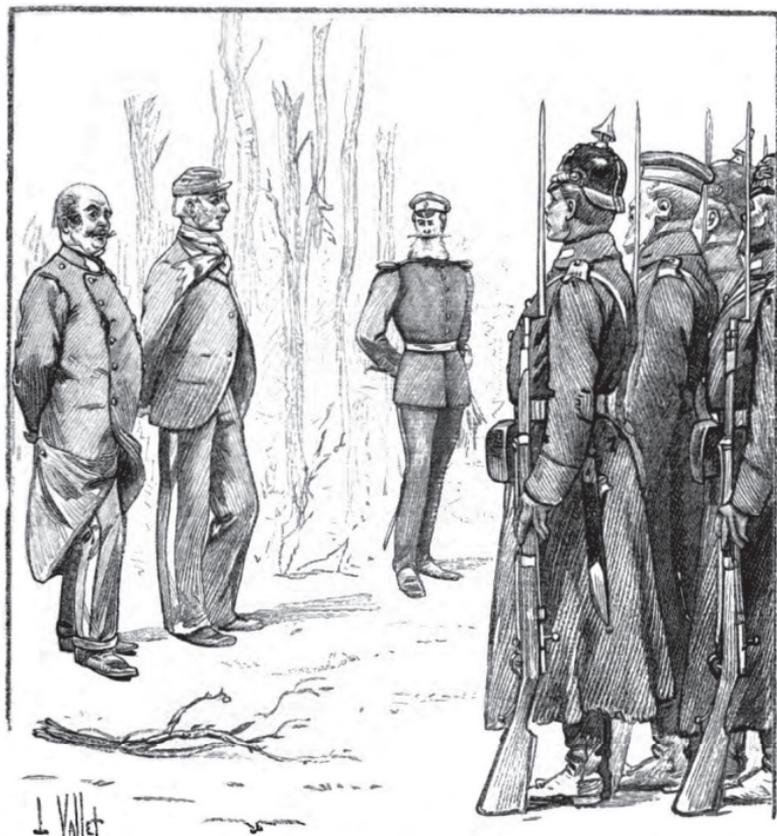
— Никто об этом никогда не узнает, вы мирно вер- нетесь к себе. Тайна исчезнет вместе с вами. Если же вы откажетесь, — немедленная смерть! Выбирайте.

Они стояли неподвижно, не раскрывая рта.

Прус- сак, по-прежнему спокойный, продолжал, про- тянув руку по направлению к реке:

— Подумайте, что через пять минут вы будете там, на дне. Через пять минут! Наверное, у вас есть родные?





Мон-Валерьен продолжал греметь.

Оба рыбакова стояли безмолвно. Немец отдал какой-то приказ на своем языке. Затем он перенес свой стул, чтобы поместиться подальше от пленных, и двенадцать солдат стали в двадцати шагах от них с ружьями к ноге.

Офицер продолжал:

— Даю вам одну минуту, ни секунды больше.

Затем он вдруг встал, подошел к обоим французам, взял под руку Мориссо, отвел его в сторону и сказал шепотом:

— Ну, живо, пароль! Ваш товарищ ничего не узнает; я сделаю вид, что смягчился.

Мориссо ничего не ответил.

Пруссак отвел г-на Соважа и сказал ему то же самое.

Г-н Соваж тоже не ответил.

Их снова поставили рядом.

Офицер скомандовал. Солдаты вскинули ружья.

В эту минуту взгляд Мориссо случайно упал на сетку с пескарями, оставшуюся на траве, в нескольких шагах от него.

Луч солнца играл на куче рыбы, еще продолжавшей биться. И Мориссо охватила слабость. Как ни старался он владеть собою, глаза его наполнились слезами.

— Прощайте, господин Соваж, — пролепетал он.

Г-н Соваж ответил:

— Прощайте, господин Мориссо.

Они пожали друг другу руки, трясаясь с головы до ног в непреодолимой дрожи.

Офицер крикнул:

— Огонь!

Двенадцать выстрелов слились в один.

Г-н Соваж упал сразу, лицом вниз. Мориссо, выше его ростом, качнулся, перевернулся и рухнул поперек своего товарища, лицом кверху; струйки крови бежали из его куртки, пробитой на груди.

Немец отдал новые приказания.

Солдаты разошлись и снова вернулись, с веревками и камнями, которые привязали к ногам убитых; затем отнесли тела на берег.

Мон-Валерьен не переставал грохотать, окутавшись теперь целой горой дыма.

Двое солдат взяли Мориссо за голову и за ноги, двое других таким же способом подняли г-на Соважа, сильно раскачали их и далеко бросили в воду; тела описали дугу и стоймя погрузились в реку, так как камни тянули их ноги вниз.

Вода брызнула, забурлила, закипела, но постепенно ее волнение улеглось, лишь мелкие волны расходились к берегам.

На поверхности плавало немного крови.

Офицер, неизменно спокойный, сказал вполголоса:

— Теперь ими займутся рыбы.

И он направился к дому.

Вдруг он увидел на траве сеть с пескарями. Он поднял ее, осмотрел, улыбнулся и крикнул:

— Вильгельм!



Подбежал солдат в белом фартуке. И, бросая ему улов двух расстрелянных, пруссак скомандовал:

— Изжарь мне сейчас же этих рыбешек, пока они живы. Это будет восхитительное блюдо!

И он снова закурил трубку.

ВОР

— Да говорю же вам, что этому никто не поверит.

— Все равно расскажите.

— Охотно. Но прежде всего я должен уверить вас, что история эта правдива во всех своих подробностях, какой бы невероятной она ни казалась. Одни художники не удивились бы ей, особенно старые художники, знавшие эту эпоху безумных шаржей, эпоху, когда дух шутки свирепствовал до такой степени, что неотступно преследовал нас даже при самых серьезных обстоятельствах.

И старый художник сел верхом на стул.

Дело происходило в столовой гостиницы Барбизона.

— Итак, — продолжал он, — мы обедали в тот вечер у бедняги Сориеля, ныне умершего, самого отчаянного из нас. Обедали только троим: Сориель, я и, кажется, Ле Пуатвен; но не решаюсь утверждать, что это был он. Говорю, разумеется, о маринисте Эжене Ле Пуатвене, также умершем, а не о пейзажисте, благополучно здравствующем в расцвете таланта.



Сказать, что мы обедали у Сориеля, — значит удостоверить, что мы были пьяны. Только Ле Пуатвен сохранял еще разум, правда, слегка отуманенный, но еще ясный. В то время мы были молоды. Растянувшись на коврах в маленькой комнатке, смежной с мастерской, мы вели сумасбродную беседу. Сориель, развалившись на полу и положив ноги на стул, толковал о сражениях, разглагольствовал о мундирах времен Империи; внезапно он поднялся, достал из большого шкафа с бутафорскими принадлежностями полную форму гусара и надел ее на себя. Затем он принудил Ле Пуатвена переодеться гренадером. А так как тот противился, мы схватили его, раздели и всунули в огромный мундир, в котором он совершенно потонул.

Я оделся кирасиром. Сориель заставил нас проделать какое-то сложное передвижение. Затем он воскликнул:

— Так как сегодня мы рубаки, то будем и пить, как рубаки.

Пунш был зажжен и выпит; затем пламя вторично вспыхнуло над миской с ромом. Мы распевали во всю глотку старые песни, те самые песни, которые когда-то горланили солдаты великой армии.

Вдруг Ле Пуатвен, который, несмотря ни на что, еще владел собою, заставил нас умолкнуть и после нескольких секунд молчания сказал вполголоса:

— Я уверен, что кто-то прошел по мастерской.

Сориель, с трудом поднявшись, воскликнул:

— Вор! Какое счастье!

Потом затянул Марсельезу:

Сограждане, на бой!

И, устремившись к шкафу с оружием, он снарядил нас соответственно нашим мундирам. Я получил что-то вроде мушкета и саблю, Ле Пуатвен — огромное ружье со штыком, сам же Сориель, не находя того, что ему было нужно, захватил седельный пистолет, засунув его за пояс, и абордажный топор, которым стал размахивать.

После этого он осторожно открыл дверь мастерской, и армия вступила на подозрительную территорию.

Когда мы очутились посреди обширной комнаты, заставленной бесконечными холстами, мебелью, стран-

ными и неожиданными предметами, Сориель объявил нам:

— Я назначаю себя генералом. Будем держать военный совет. Ты, кирасирский отряд, отрежешь отступление неприятелю, то есть запрешь дверь на ключ. Ты, отряд гренадер, будешь моим эскортом.



Я выполнил приказ, а затем присоединился к главным силам армии, совершавшим рекогносцировку.

В ту минуту, когда я их настиг, за высокой ширмой раздался страшный шум. Я бросился вперед, держа в руке свечу, Ле Пуатвен только что пронзил штыком грудь одного манекена, а Сориель рубил ему топором голову. Когда ошибка обнаружилась, генералскомандовал: "Будем осторожны", — и военные действия возобновились.

Минут двадцать по крайней мере мы безуспешно обшаривали все углы и закоулки мастерской, когда Ле Пуатвену вздумалось открыть огромный шкаф. Он был темен и глубоок; я вытянул руку, в которой держал свечу, и отступил в изумлении: там стоял и смотрел на меня какой-то человек, живой человек.

Я немедленно запер шкаф двойным поворотом ключа, и мы снова устроили совет.

Мнения разделились. Сориель хотел поджечь вора, Ле Пуатвен говорил о том, чтобы взять его голодом. Я предлагал взорвать шкаф порохом.

Мнение Ле Пуатвена одержало верх, и пока он стоял на карауле с ружьем, мы отправились за остатками пунша и за нашими трубками; затем уселись перед запертою дверью и выпили за здоровье пленного.

Спустя полчаса Сориель сказал:

— Была не была, мне хочется увидеть его вблизи. Не взять ли нам его силой?

Я крикнул: "Браво!" Каждый схватился за свое оружие, шкаф отперли, и Сориель, с незаряженным пистолетом в руке, первый бросился вперед.

Мы последовали за ним с громким воем. В темноте поднялась ужасная драка, и после пяти минут невероятной борьбы мы вытащили на свет старого грабителя, седого, грязного и в лохмотьях.

Ему связали руки и ноги, затем его посадили в кресло. Он не произнес ни слова.

Сориель обратился к нам с пьяной торжественностью:

— Теперь мы будем судить этого негодяя.

Я был настолько пьян, что это предложение мне показалось вполне естественным.

Ле Пуатвену было поручено представлять защиту, а мне — поддерживать обвинение.

Он был приговорен к смерти единогласно, за исключением голоса его защитника.

— Мы сейчас же казним его! — сказал Сориель. Однако на него напало сомнение: — Да нет, нельзя ему умереть, он должен получить поддержку религии. Не позвать ли нам священника?

Я возражал, говорил, что уже поздно. Сориель предложил выполнить эту обязанность мне самому и призвал преступника исповедаться мне.

Человек этот минут пять вращал испуганными глазами, спрашивая себя, с кем же он имеет дело. Затем произнес глухим голосом пьяницы:

— Вы, конечно, шутите.

Но Сориель силой поставил его на колени и, опасаясь, что родители оставили его некрещеным, вылил ему на голову стакан рому.

Затем он сказал:

— Исповедуйся этому господину; твой последний час пробил.

Старый негодяй, обезумев, завопил: "Помогите!" — и так отчаянно, что пришлось завязать ему рот, чтобы он не разбудил соседей. Тогда он стал кататься по полу, брыкаясь, корчась, опрокидывая мебель, продырявливая холсты. В конце концов Сориель, потеряв терпение, крикнул:

— Прикончим его!

И, прицелясь в лежавшего на полу бродягу, нажал спуск пистолета. Собачка щелкнула с легким сухим стуком. Увлеченный примером, я также выстрелил. Мое кремневое ружье выбросило искру, которая меня удивила.

И тут Ле Пуатвен выразительно произнес следующие слова:

— А имеем ли мы на самом деле право убивать этого человека?

Сориель, пораженный, ответил:

— Да ведь мы же приговорили его к смерти!

Но Ле Пуатвен возразил:

— Штатских не расстреливают; его надо передать палачу. Отведем-ка его на гауптвахту.

Довод показался нам убедительным. Человека подняли, а так как он не мог идти, его положили на доску от стола для моделей и крепко привязали к ней; я понес его с Ле Пуатвеном, а Сориель, вооруженный до зубов, замыкал шествие.

Перед гауптвахтой нас остановил часовой. Вызванный дежурный офицер узнал нас. Он был ежедневным свидетелем наших шуток, проделок и невероятных



выходок, а потому
лишь расхохотался и отказал
в приеме нашего пленника.

Сориель попробовал настаивать, но офицер строго предложил нам вернуться домой и не шуметь.

Отряд пустился в путь и возвратился в мастерскую.

— Что же мы будем делать с нашим вором? — спросил я.

Ле Пуатвен, растрогавшись, уверял, что этот человек, наверно, страшно утомился. В самом деле, с завя-

занным ртом и прикрученный к доске, он был похож на умирающего.

Я в свою очередь почувствовал к нему щемящую жалость, жалость пьяницы, и, вынув у него изо рта затычку, спросил:

— Ну, старина, как дела?

Он простонал:

— Довольно с меня, наконец, черт побери!

Тогда Сориель поступил по-отечески. Он развязал все веревки, усадил его, заговорил с ним на "ты". Мы решили подкрепить его и живо принялись втроем готовить новый пунш. Вор глядел на нас, спокойно сидя в кресле. Когда напиток был готов, ему протянули стакан, и все чокнулись.

Пленный пил, словно целый полк. Но так как начинало светать, то он встал и с полным спокойствием произнес:

— Я принужден вас покинуть, мне надо вернуться домой.

Мы были в отчаянии, старались его удержать, но он отказался оставаться дольше.

Все мы пожали ему руку, а Сориель взял свечу, чтобы осветить в прихожей, и громко сказал:

— Будьте осторожны, в воротах ступенька.

Все слушатели хохотали. Рассказчик встал, закурил трубку и, повернувшись к нам, прибавил:

— Но самое смешное в моей истории то, что она — истинное происшествие.

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

— Сочельник! Сочельник! Ну, нет, я не стану справлять сочельник!

Толстяк Анри Тамилье произнес это таким разъяренным голосом, словно ему предлагали что-нибудь позорное.

Присутствующие, смеясь, воскликнули:

— Почему ты приходишь в такую ярость?

— Потому, — отвечал он, — что сочельник сыграл со мной сквернейшую шутку, и у меня остался непобедимый ужас к глупому веселью этой дурацкой ночи.

— Но в чем же дело?

— В чем дело? Вы хотите знать? Ну, так слушайте.

Помните, какой был мороз два года тому назад в эту пору? Нищим хоть помирать было на улице. Сена замерзла; тротуары леденили ноги сквозь подошвы ботинок; казалось, весь мир готов был погибнуть.

У меня была начата тогда большая работа, и я отказался от всех приглашений на сочельник, предпочитая провести ночь за письменным столом. Пообедав в одиночестве, я тотчас же принялся за дело. Но вот, часов около десяти вечера, мысль о разлившемся по всему Парижу веселье, уличный шум, несмотря ни на что, доносившийся до меня, слышные за стеной приготовления к ужину у моих соседей, — все это стало действовать мне на нервы. Я ничего уже не соображал, писал глупости и понял, что надо отказаться от надежды сделать что-либо путное в эту ночь.

Некоторое время я ходил по комнате и то садился, то вставал. Я испытывал таинственное влияние уличного веселья, это было очевидно; оставалось покориться ему.

Я позвонил служанке и сказал:

— Анжела, купите что-нибудь для ужина на двоих: устриц, холодную куропатку, креветок, ветчины, пирожных. Возьмите две бутылки шампанского; накройте на стол и ложитесь спать.

Она исполнила приказание, хотя и не без удивления. Когда все было готово, я надел пальто и вышел.

Оставалось решить самый главный вопрос: с кем буду я встречать сочельник? Мои приятельницы уже были приглашены в разные места: чтобы залучить какую-нибудь из них, надо было позаботиться об этом заранее. Тогда мне пришло в голову сделать заодно и доброе дело. Я сказал себе: "Париж полон бедных и прекрасных девушек, у которых нет куска хлеба; они бродят по городу в поисках великодушного мужчины. Стану-ка я рождественским провидением одной из этих обездоленных. Пойду поброжу, загляну в увеселительные места, расспрошу, поищу и выберу по своему вкусу".

И я пустился бродить по городу.

Разумеется, я встретил многое множество бедных девушек, искавших приключения, но они были так безобразны, что могли вызвать несварение желудка или так худы, что замерзли бы, остановившись на улице.

Вы знаете мою слабость: я люблю женщин упитанных. Чем они плотней, тем привлекательней. Великанша сводит меня с ума.

Вдруг против театра Варьете я увидел профиль в моем вкусе. Голова, затем два возвышения — очень красивой груди, а ниже — восхитительного живота, живота жирной гусыни. Задрожав, я прошептал: "Черт возьми, какая красotka!" Оставалось только увидеть ее лицо.

Лицо женщины — сладкое блюдо; остальное... это жаркое.

Я ускорил шаги, нагнал эту прогуливавшуюся женщину и под газовым фонарем обернулся.

Она была восхитительна — совсем еще молодая, смуглая, с большими черными глазами.

Я пригласил ее, и она согласилась без колебания.

Спустя четверть часа мы сидели за столом в моей комнате.

— Ах, как здесь хорошо! — сказала она, входя.

И оглянулась вокруг, радуясь, что нашла ужин и приют в эту морозную ночь. Она была восхитительна: так красива, что я удивился, и так толста, что навек пленила мое сердце.

Она сняла пальто и шляпу, села за стол и принялась есть; но, казалось, она была не в ударе, и порой ее немного бледное лицо дергалось, словно она страдала от тайного горя.

Я спросил:

— У тебя какие-нибудь неприятности?

Она ответила:

— Ба, забудем обо всем!

И начала пить. Она осушала залпом свой бокал шампанского, снова наполняла и опоражнивала, и так без конца.



Вскоре слабый румянец выступил у нее на щеках, и она стала хохотать.

Я уже боготворил ее, целовал и убеждался, что она не была ни глупа, ни вульгарна, ни груба, подобно улич-

ным женщинам. Я пытался было узнать, как она живет, но она ответила:

— Милый мой, это уже тебя не касается!

Увы! Всего час спустя...

Наконец настало время ложиться в постель, и, пока я убирал со стола, стоявшего у камина, она быстро разделась и скользнула под одеяло.

Соседи за стеной шумели ужасно, смеясь и распевая, как полоумные, и я говорил себе: "Я сделал вполне правильно, отправившись на поиски за этой красоткой; все равно я не мог бы работать".

Глубокий вздох заставил меня обернуться. Я спросил:

— Что с тобою, моя кошечка?

Она не отвечала, но продолжала болезненно вздыхать, словно ужасно страдала.

Я продолжал:

— Или ты нездорова?

И вдруг она испустила крик, пронзительный крик.

Я бросился к ней со свечою в руке.

Лицо ее было искажено болью, она ломала руки, задыхалась, а из ее горла вырывались хриплые, глухие стоны, от которых замирало сердце.

Я спрашивал, растерявшись:

— Но что же с тобою? Скажи, что с тобою?

Не отвечая, она принялась выть.

Соседи сразу умолкли, прислушиваясь к тому, что происходило у меня.

Я повторил:

— Где у тебя болит? Скажи, где у тебя болит?

Она пролепетала:

— Ох, живот, живот!

Я вмиг откинул одеяло и увидел...

Друзья мои, она рожала!

Тут я потерял голову; я бросился к стене и, колотя в нее изо всех сил кулаками, заорал:

— Помогите, помогите!

Дверь отворилась, и в мою комнату вбежала целая толпа: мужчины во фраках, женщины в бальных платьях, пьерро, турки, мушкетеры. Это нашествие так ошеломило меня, что я не мог им объяснить, в чем дело.

Они же думали, что случилось какое-нибудь несчастье, быть может, преступление, и тоже ничего не понимали.

Наконец я выговорил:

— Дело в том... дело в том, что... эта... эта женщина... рождает...

Тогда все стали ее осматривать, высказывать свои мнения. Какой-то капуцин притязал на особенную опытность в этих делах, и хотел помочь природе.

Они были пьяны как, стельки. Я решил, что они убьют ее, и бросился в чем был на лестницу, за старым доктором, жившим на соседней улице.

Когда я вернулся с доктором, весь дом был на ногах; на лестнице зажгли газ, квартиранты со всех этажей наводняли мою квартиру; четверо грузчиков сидели за столом, допивая мое шампанское и доедая моих креветок.

При виде меня раздался громовой рев. Молочница поднесла мне на салфетке отвратительный комок смор-

щенного, съжившегося мяса, стонавший и мяукавший, как кошка, и объявила:

— Девочка!

Доктор осмотрел роженицу, признал ее положение опасным, так как роды произошли тотчас после ужина, и ушел, сказав, что немедленно пришлет ко мне сиделку и кормилицу.

Обе женщины прибыли через час и принесли сверток с медикаментами.

Я провел ночь в кресле и был слишком потрясен, чтобы раздумывать о последствиях.

Утром доктор вернулся. Он нашел больную в довольно плохом состоянии.

— Ваша супруга, сударь... — начал он.

Я прервал его:

— Это не моя супруга.

Он продолжал:

— Ну все равно, ваша любовница.

И он перечислил все заботы, которые были ей необходимы, — уход, лекарства.

Что было делать? Отправить эту несчастную в больницу? Я прослыл бы за негодяя во всем доме, во всем квартале.

Я оставил ее у себя. Шесть недель пролежала она в моей постели.

Ребенок? Я отослал его к крестьянам в Пуасси. Мне приходится ежемесячно платить за него пятьдесят франков. Заплатив раз, я принужден теперь платить за него до моей смерти.

А впоследствии он будет считать меня своим отцом.

В довершение всех несчастий, когда эта девушка выздоровела... она полюбила меня... безумно полюбила, негодяйка!

— Ну, и что же?

— Ну, она исхудала, как приبلудная кошка, и я выкинул ее за дверь. Теперь этот скелет поджидает меня на улицах, прячется при моем появлении, а вечером, когда я выхожу, останавливает меня, чтобы поцеловать мне руку, и в конце концов бесит меня до неистовства.

Вот почему я никогда больше не буду справлять сочельник.



ЗАМЕСТИТЕЛЬ

— Госпожа Бондеруа?

— Да, госпожа Бондеруа.

— Может ли это быть?

— У-ве-ряю вас!

— Госпожа Бондеруа, та самая пожилая дама в кружевных чепцах, ханжа

и святоша? Та почтенная госпожа Бондеруа, у которой мелкие накладные кудряшки словно приклеены к черепу?

— Она самая.

— Послушайте, да вы с ума сошли!

— Кля-нусь вам!

— В таком случае, не расскажете ли все подробно?

— Извольте. При жизни господина Бондеруа, бывшего нотариуса, госпожа Бондеруа пользовалась, говорят, писцами своего мужа, для некоторых особых услуг. Это одна из тех почтенных буржуазных дам, каких много: с тайными пороками и непоколебимыми принципами. Она любила красивых юношей; что может быть естественнее? Разве мы не любим красивых девушек?

Когда папаша Бондеруа скончался, вдова его зажила жизнью тихой и безупречной рантьерши. Она усердно посещала церковь, презрительно говорила о своих ближних и не подавала никакого повода говорить о себе самой.

Затем она состарилась и превратилась в ту чопорную, прокисшую и злобную мещанку, которую вы знаете.



И вот в прошлый четверг случилось невероятное приключение.

Друг мой, Жан д'Англемар, как вам известно, — драгунский капитан, и он живет в казарме в предместье Ла Риветт.

Придя как-то утром в свою часть, он узнал, что два его солдата самым безобразным образом подрались. У воинской чести свои суровые законы. Дело кончилось дуэлью. После нее солдаты помирились и, опрошенные капитаном, рассказали ему о причинах своей ссоры. Они дрались из-за госпожи Бондеруа.

— О!

— Да, друг мой, из-за госпожи Бондеруа! Но представлю слово кавалеристу Сибалю.

— Вот какое дело, капитан. Года полтора тому назад прогуливаюсь я по главной улице, часов в шесть или в семь вечера; вдруг подходит ко мне какая-то женщина. И спрашивает меня так же просто, как попросила бы указать ей дорогу:

— Военный, не хотите ли честно зарабатывать десять франков в неделю?

Я чистосердечно отвечаю:

— К вашим услугам, сударыня.

Тогда она говорит мне:

— Вы застанете меня дома завтра в полдень. Я — госпожа Бондеруа и живу на улице Траншэ, дом номер шесть.

— Непременно приду, сударыня, будьте покойны.

После этого она оставляет меня и с довольным видом произносит:

— Очень вам благодарна, господин военный.

— Это я должен благодарить вас, сударыня.

Случай этот не давал мне покоя до следующего дня.

В полдень звоню у ее двери.

Отпирает мне она сама. А на голове у нее целая куча ленточек.

— Поспешим, — говорит она мне, — а то прислуга скоро должна вернуться.

Я отвечаю:

— За мною дело не станет. Что прикажете делать?

Она смеется и отвечает:

— А сам-то не понимаешь, толстый плут?

Но я все еще не понимал, капитан, честное слово. Тогда она садится рядом со мной и говорит:

— Если ты хоть слово скажешь об этом, я засажу тебя в тюрьму. Побожись, что будешь молчать.

Я побожился, как она хотела. Но все еще ничего не понимал. Пот выступил у меня на лбу, и я снял каску, где у меня лежал носовой платок. Она берет этот платок и вытирает мне виски. Затем вдруг обнимает меня и шепчет на ухо:

— Значит, хочешь?

Я отвечаю:

— Я согласен исполнить все, что вы желаете, сударыня; для этого я и пришел.

Тогда она мне ясно дала понять, чего ей хотелось. А уразумев, в чем дело, я положил каску на стол и доказал ей, что драгуны никогда не отступают, капитан.

Не очень-то большое удовольствие я получил от этого: особа была не первой молодости. Но нельзя быть слишком разборчивым: монетки перепадают не часто.



И потом есть семья, которую надо поддерживать. Я так и сказал себе: "Тут будет сто су для отца".

Отбыв свою повинность, капитан, я собрался восво-
яси. Понятно, ей хотелось, чтобы я не уходил так скоро.
Но я сказал:

— У всего своя цена, сударыня. Рюмочка стоит два су, а две рюмочки — четыре су.

Она отлично поняла, что я прав, и сунула мне в руку маленький наполеондор в десять франков. Не очень-то подходящая эта монетка: в кармане она болтается, а если штаны неважно сшиты, ее находишь в сапогах, а то и совсем не находишь.

Я рассматриваю эту желтую облатку, думая об этом, а она смотрит на меня, краснеет и спрашивает — ее обмануло выражение моего лица:

— Что же, по-твоему, этого мало? Я отвечаю:

— Не совсем так, сударыня, только если вам все равно, я предпочел бы две монеты по пяти франков.

Она дала мне их, и я ушел.

И вот это тянется уже полтора года, капитан. Я хожу к ней каждый вторник вечером, когда вы разрешаете мне отпуск. Так она и предпочитает, потому что ее прислуга уже спит.

Но вот на прошлой неделе я расклеился, и пришлось мне понюхать госпиталя. Наступает вторник, выйти нельзя, и я прямо-таки грызу себе ногти из-за этих десяти кружочков, к которым уже привык.

Мне думалось: "Если к ней никто не пойдет, я пропал. Она, наверно, возьмет себе артиллериста". И это взбудоражило меня.

Тогда я попросил позвать Помеля, моего земляка, и рассказал ему обо всем деле:

— Ты получишь сто су, и мне сто су, ладно?

Он соглашается и уходит. Я все ему объяснил как следует. Он стучит; она отпирает и дает ему войти, не посмотрев ему в лицо и не заметив, что это другой.

Вы понимаете, господин капитан, все драгуны похожи друг на друга, когда они в касках.

Но вдруг она обнаруживает это превращение и сердито спрашивает:

— Кто вы такой? Что вам надо? Я вас не знаю.

Тогда Помель объясняется. Выкладывает, что я нездоров и прислал его в качестве заместителя.

Она смотрит на него, также заставляет побожиться в сохранении тайны, затем соглашается принять его; сами понимаете, Помель тоже ведь недурен собой.

Но когда этот негодяй вернулся, он не пожелал отдать мне мои сто су. Будь они для меня, я ничего бы не сказал, но ведь это отцовские деньги, и тут уж было не до шуток.

Я ему говорю:

— Поступки твои неприличны для драгуна; ты позоришь мундир.

А он замахнулся на меня, господин капитан, говоря, что за такую тяжелую повинность надо получать вдвое.

Каждый судит по-своему, не так ли? Тогда нечего было ему соглашаться. Я и ткнул его кулаком в нос. Остальное вы знаете.

Капитан д'Англемар смеялся до слез, рассказывая мне эту историю. Но и он взял с меня клятву сохранить тайну, за которую ручался солдатам.

— Главное, не выдавайте меня; храните все это про себя, обещаете?

— О, не бойтесь. Но как же, в конце концов, все это уладилось?

— Как? Держу пари, не угадаете... Мамаша Бонде-руа оставила обоих драгун, назначив каждому особый день. Таким образом, все остались довольны.

— О, она очень добрая, очень добрая!

— А старикам родителям обеспечено пропитание. И нравственность не пострадала.

СОДЕРЖАНИЕ

МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИФИ.	5
ГОСПОЖА БАТИСТ	30
РЖАВЧИНА	41
МАРРОКА.	54
ПОЛЕНО	72
МОЩИ	81
КРОВАТЬ	91
СУМАСШЕДШИЙ?.	98
ПРОБУЖДЕНИЕ	107
ХИТРОСТЬ	117
ВЕРХОМ	127
СОЧЕЛЬНИК	139
СЛОВА ЛЮБВИ.	149
ПАРИЖСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.	156
ДВА ПРИЯТЕЛЯ.	171
ВОР.	183
НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО	191
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	199

Ги де Мопассан
МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Ответственный за выпуск *С. Раделов*
Верстка, дизайн обложки, подготовка к печати
М. Судакова

Сдано в печать 05.12.2018, Объем 6,5 печ. листов
Тираж 3000 экз. Заказ № 9240/18

Бумага кремовая книжная дизайнерская
Stora Enso Lux Cream

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона
№436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной
продукции, так как данное издание классического
произведения имеет значительную историческую,
художественную и культурную ценность для общества



ООО СЗКЭО

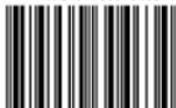
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru

ООО «Издательство «ОНИКС-ЛИТ»
119017, Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1
Отдел реализации: тел.: (495) 649-85-07
Интернет-магазины:
www.labyrinth.ru, www.my-shop.ru, www.ozon.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево 1,
комплекс №3А, www.pareto-print.ru



ISBN 978-5-9603-0463-4



9 785960 304634 >